

# Марк Твен ЖАННА Д'АРК



*Личные  
воспоминания сьера Луи  
де Конта (ее  
оруженосца и писца),  
переведенные Жаном*

Франсуа Альденом на  
английский язык с  
оригинального  
неизданного  
манускрипта,  
хранящегося в  
национальном архиве  
Франции

**Personal  
Recollections of Joanof  
Arc (1896)**

Примите во  
внимание это  
беспримерное и  
знаменательное  
отличие: с тех пор, как  
начали записывать  
историю человечества,  
из всех людей, мужчин и  
женщин, одной лишь  
Жанне д'Арк в  
семнадцать лет было  
вверено верховное  
командование войсками  
народа.

**Лайош Кошут**

**Правдивость предлагаемого  
рассказа проверена по следующим  
авторитетным источникам:**

J. E. J. Quicherat. Condamnation  
et Rehabilitation de Jeanne d'Arc.

J. Fabre. Proces de condamnation  
et Jeanne d'Arc.

H. A. Wallon. Jeanne d'Arc.

M. Sepet. Jeanne d'Arc.

J. Michelet. Jeanne d'Arc.

Berriat de Saint-Prix. La famili de  
Jeanne d'Arc.

La Comtesse A. de Chabannes. La  
Vierge Lorraine.

Monseigneur Ricard. Jeanne d'Arc  
la Venerablel.

Lord Ronald Giwer. Joan of Arc.

John O'Hagan. Joan of Arc.

Janet Tuckey. Joan of Arc the  
Maid.

# ПРЕДИСЛОВИЕ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДЧИКА<sup>1</sup>

Дать справедливую оценку знаменитой личности можно лишь в том случае, если мы воспользуемся мерками ее эпохи, а не нашей. Опьяненные мерилом какого-нибудь столетия, благороднейшие умы более ранней эпохи теряют впоследствии немалую долю своего блеска; примените мерки наших дней, и вы, быть может, не найдете на протяжении четырех или пяти последних веков ни одного знаменитого человека, слава которого оказалась бы всецело неуязвимой. Но личность Жанны д'Арк уникальна. Ее можно оценивать мерками всех времен, без предчувствия или боязни, что выводы будут разноречивы. Пусть ее судят согласно любым воззрениям, пусть ее судят согласно воззрениям всех поколений: душа ее по-прежнему будет кристально чиста, идеально совершенна; образ ее по-прежнему занимает высочайшее место, которое только может быть достигнуто человеком.

Зная, что ее век был самым зверским, гнусным, преступным веком, какого история не

---

<sup>1</sup> В качестве «переводчика» выступает сам Марк Твен. (Примеч. ред.)

знавала с древнейших времен, мы безмерно дивимся чуду подобного восхода на подобной почве. Жанна непохожа на своих современников, как день не походит на ночь. Она оставалась правдивой, когда ложь стала нормой жизни; она была честна, когда честность сделалась утраченной добродетелью; она была верна своему слову, когда ни от кого нельзя было ждать исполнения обещаний; свой великий ум она посвятила великим мыслям и великим целям в то самое время, когда другие великие умы бесплодно увлекались красивыми фантазиями или пустым тщеславием; она была скромна, утонченна, деликатна, когда крикливость и грубость отличали почти всех; она была преисполнена сострадания, когда бессердечная жестокость являлась общим правилом; она была непоколебима, когда стойкостью не обладал никто, и — душевно благородна, когда все уже забыли, что значит благородство души; она была твердыней веры в то время, когда не верили ни во что и насмехались надо всем; она была безупречно искренна среди всепроникавшего лицемерия; среди царства лести и пресмыкания она сохранила неприкосновенным свое личное достоинство; она была олицетворением неустрашимого мужества в те дни, когда надежда и смелость иссякли в сердцах ее народа; она была белоснежно чиста душой и телом в то самое время,

когда высшие сословия страны погрязли в грехе телесно и духовно. Такова была она в тот век, когда преступление было привычным делом вельмож и принцев и когда высшие сановники христианства способны были поразить ужасом даже своих греховных современников и внушить им омерзение картиной своей лютой жизни, позорно протекавшей среди беспримерных жестокостей, низменностей и предательств.

Из всех имен, нашедших место в истории, быть может, только ее имя окружено ореолом полного бескорыстия. Ни следа, ни намек на себялюбие нельзя найти ни в едином ее слове или поступке. Она вернула своего короля из скитаний, возложила ему на голову королевский венец, за что ей были предложены награды и почести, но она от всего отказалась. Единственное, что она готова была принять, будь на то соизволение короля, это — разрешение вернуться в свою деревню, где она опять могла бы пасти стадо овец, где она могла бы снова почувствовать объятия матери и служить ей помощницей по хозяйству. Дальше этого не шло себялюбие неподкупного полководца победоносных войск, соратника принцев, кумира восторженного и благородного народа.

Подвиг Жанны д'Арк можно смело поставить рядом с величайшими деяниями, занесенными в анналы истории, если вспомнить, при каких

условиях она его предприняла, сколько преград было на ее пути и какими средствами она располагала. Цезарь — великий завоеватель, но в его распоряжении были испытанные и закаленные римские ветераны, и он сам был опытный воин; Наполеон обращал в бегство дисциплинированные войска европейских держав, но он тоже был опытный воин, и притом батальоны его сподвижников состояли из патриотов, воодушевленных и воспламененных чудодейственным дыханием Свободы, навеянным революцией, — то были полные сил, способные ученики военного дела, а не дряхлые деморализованные и усталые солдаты, угрюмо пережившие вековое нагромождение однообразных поражений. Но Жанна д'Арк, почти дитя, невежественная, неграмотная, простая деревенская девушка, никому не известная и не имевшая влияния, застала великий народ лежащим в цепях, застала народ, уже не ждавший помощи, не имевший надежды, угнетенный чужеземным владычеством; казна была пуста; войска пали духом, разбрелись кто куда; после долгих лет чужеземного и отечественного угнетения и произвола исчезло всякое воодушевление, угасла смелость в сердце народа; король был лишен воли, покорился своей судьбе, готовился к бегству. И Жанна возложила руку на этот народ, на этот труп

— и он воспрял и пошел за ней. Она повела его от победы к победе, она обратила вспять поток Столетней войны, она надломила британскую мощь и умерла с заслуженным именем Освободительницы Франции — именем, которое остается за ней и поныне.

И в награду за все французский король, на которого она возложила венец, неподвижно и безучастно стоял в стороне в то время, как французские попы потащили в тюрьму это благородное, самое невинное, самое милое, наиболее достойное обожания дитя человеческое и — сожгли ее живой на костре.

## **ОСОБЕННОСТЬ ИСТОРИИ ЖАННЫ Д'АРК**

### **(Примечание английского переводчика)**

Подробности жизни Жанны д'Арк в своей совокупности составляют биографию, которая стоит особняком среди всех биографий мира, потому что это единственное жизнеописание, дошедшее до нас под присягой, единственное, которое дошло до нас со свидетельской скамьи. Официальные отчеты Великого суда 1431 года и происходившего четверть века спустя Суда Восстановления хранятся и донныне в



Национальном архиве Франции, и в них с замечательной полнотой изложены события ее жизни. Ни одно из остальных жизнеописаний той отдаленной эпохи не отличается такой всесторонностью и достоверностью.

Сьер Луи де Конт в своих личных воспоминаниях «не расходится» с правительственными отчетами, и, по крайней мере, в этом отношении его правдивость не подлежит сомнению; что же касается множества сообщаемых им других подробностей, то здесь остается лишь поверить ему на слово.

## **СЬЕР ЛУИ ДЕ КОНТ СВОИМ ВНУЧАТЫМ ПЛЕМЯННИКАМ И ПЛЕМЯННИЦАМ**

Ныне 1492 год. Мне восемьдесят два года. События, о которых я собираюсь вам рассказать, произошли на моих глазах в моем детстве и в моей юности.

Во всех песнях, жизнеописаниях и сказаниях о Жанне д'Арк, которые вы и весь остальной мир поете, изучаете и читаете, знакомясь с ними по книгам, тисненным новым, придуманным недавно способом книгопечатания, — во всех этих песнях и книгах упоминается обо мне, сьере Луи де Конте. Я — ее бывший оруженосец и писец. Я сопутствовал ей от начала и до конца.

Я воспитывался в той же деревне, где и она. Когда мы оба были маленькими детьми, я играл с ней каждый божий день, как вы играете со своими сверстниками. Теперь, когда мы узнали, как велика была ее душа, теперь, когда слава ее имени распространилась по всему миру, как-то не верится, чтобы мои слова были правдой; это все равно, как если бы недолговечная, тонкая свеча заговорила о неугасимом солнце, озаряющем небеса, и сказала: «Оно было моим собеседником и сотоварищем, когда было еще свечкой, как я».

А между тем я сказал истинную правду. Я был товарищем ее забав, и я сражался рядом с ней в бою; до глубокой старости я сохранил ясный и нежный образ этого дорогого, хрупкого создания: вот она, припав грудью к шее коня, во главе французских войск несется на врага; ее волосы развеваются по ветру, ее блестящие латы неустрашимо врезаются все глубже и глубже в середину самой жаркой битвы и порой почти утопают в море мелькающих конских голов, почти скрываются за лесом вздетых мечей, треплемых ветром султанов и отражающих удары щитов! Я был с ней рядом до конца; и когда наступил тот черный день, который навсегда ляжет мрачным обвинением на имена ее убийц, одетых в церковные мантии французских рабов Англии, и на имя самой Франции, праздной стоявшей в стороне и ничего не

сделавшей для спасения мученицы, — когда наступил тот день, то я получил последнее прикосновение ее руки.

Годы и десятилетия мчались мимо, и зрелище лучезарного полета славной Девы, осветившей, как метеор, боевой небосвод Франции и угасшей в дыму костра, все глубже и глубже отступало в даль минувшего, становясь с каждым годом более загадочным, Божественным и трогательным чудом; и мало-помалу я научился понимать и ценить ее по заслугам — как благороднейшую человеческую жизнь, подобную лишь Одной, посетившей наш мир.

## **КНИГА ПЕРВАЯ**

### **В Домреми**

#### **ГЛАВА I**

Я сьер Луи де Конт, родился в Невшато 6 января 1410 года, то есть как раз за два года до появления на свет Жанны д'Арк в Домреми. Мои родные еще в первых годах столетия, покинув окрестности Парижа, укрылись в этом захолустье. По политическим воззрениям они были арманьяки — патриоты; они стояли за то, чтобы у нас был свой, французский, король, не взирая на все его

слабоумие и беспомощность. Бургундская партия, стоявшая за английскую династию, обобрала нас дочи́ста. У отца отняли все, кроме его захудалого дворянства, и в Невшато он добрался уже нищим и с разбитыми надеждами. Но политический настрой на новых местах пришелся ему по вкусу — хоть одно утешение. Он попал в область сравнительного спокойствия; а позади осталась область, населенная фуриями, безумцами, демонами; там убийство было ежедневной забавой, и жизнь человека ни на минуту не была вне опасности. В Париже чернь по ночам безумствовала на улицах, грабя, поджигая, убивая, и никто не вмешивался в это, не запрещал. Солнце всходило над разгромленными и дымящимися домами и над изуродованными трупами, которые лежали повсюду среди улиц — лежали там, где упали в минуту смерти, донага обобранные хищниками, нечестивыми прихлебателями черни. Никто не осмеливался подбирать мертвецов и предавать их земле; они продолжали лежать там, разлагаясь и создавая заразу.

И зараза явилась. Словно мухи, люди погибали от моровой язвы; погребали покойников под покровом ночи и тайны, потому что запрещено было хоронить при народе, дабы раскрытием размеров чумы не посеять ужаса и отчаяния среди населения. А в завершение всего наступила такая

суровая зима, какой Париж не знал за последние пять веков. Голод, мор, убийства, лед, снег — все сразу низринулось на Париж. Мертвецы грудями лежали на улицах, а волки средь бела дня рыскали по городу и пожирали трупы.

Франция пала, о, как низко она пала! Уже больше трех четвертей столетия прошло с тех пор, как когти англичан вонзились в ее тело, и войска ее так присмирели от беспрестанных поражений и кровопролитных потерь, что недалеко от правды было ходячее мнение, будто один вид англичан способен обратить в бегство французское войско.

Мне было пять лет, когда на Францию обрушилась страшная трагедия Азенкура; английский король вернулся к себе, чтобы отпраздновать победу, а обессиленная страна была предоставлена как добыча хищным шайкам «вольных дружин», находившимся на службе бургундской партии. Однажды ночью такая шайка совершила набег и на наш Невшато. При свете огня, охватившего наши соломенные крыши, я видел, как всех, кто был мне дорог на этом свете, убивали, не взирая на их мольбы о пощаде. В живых остался только мой старший брат, ваш предок: он находился тогда при дворе. Я слышал, как эти головорезы смеялись над их мольбами и передразнивали их просьбы о милосердии. Меня не заметили, и я остался невредим. Когда ушли

кровожадные звери, я выполз из своего убежища и проплакал всю ночь, глядя на пылавшие дома; я был совершенно один, кругом меня находились лишь мертвые да раненые. Все разбежались, попрятались.

Меня отослали в Домреми, к священнику; его ключница заменила мне нежную мать. Священник мало-помалу научил меня грамоте и письму, и мы с ним были единственными обитателями деревни, умевшими читать и писать.

К тому времени, как я нашел отчий приют в доме этого доброго патера, Гильома Фронта, мне было лет шесть. Мы жили как раз подле сельской церкви, а небольшой садик родителей Жанны находился позади нее. Семейство их состояло из Жака д'Арк, отца; его жены Изабеллы Ромэ; троих сыновей: Жака — десяти лет, Пьера — восьми и Жана — семи; Жанне тогда было четыре года, а ее сестренке Катерине — около одного. У меня были и другие сверстники, в особенности четыре мальчика: Пьер Морель, Этьен Роз, Ноэль Рэнгесон и Эдмонд Обрэ, отец которого был тогда сельским мэром; были еще две девочки, почти однолетки с Жанной, мало-помалу сделавшиеся ее закадычными приятельницами: одну звали Ометтой, другую — маленькой Менжеттой. Девочки эти принадлежали к простым крестьянским семьям, как и сама Жанна. Впоследствии они обе вышли замуж за простых

крестьян. Как видите, происхождения они были не бог весть какого; и однако много лет спустя наступило время, когда каждый путешественник, как знатен он ни был, считал своим долгом зайти, при проезде через наше село, к двум смиренным старушкам, которым в юности выпала честь быть подругами Жанны, и заплатить им дань уважения.

Все это были славные дети, обыкновенные дети крестьян. Конечно, ума не блестящего — вы этого и не стали бы от них требовать, — но добродушные и хорошие товарищи, с послушанием относившиеся и к родителям, и к священнику. Подрастая, они все больше и больше набирались узких понятий и предрассудков, заимствованных через третьи руки от старших и воспринятых без колебаний — как само собой разумеющееся. Религия передалась им по наследству, как и политические воззрения. Пусть себе Ян Гус и его присные заявляют о своем недовольстве Церковью — Дом-реми, как и прежде, будет верить по старинке. Мне было четырнадцать лет, когда наступил раскол, и у нас оказалось сразу трое Пап; но в Домреми никто не колебался, на ком из них остановить свой выбор: Папа, находящийся в Риме, — настоящий, а Папа вне Рима — вовсе не Папа. Все обитатели деревни, до последнего человека, были арманья-ки — патриоты; и если мы, дети, ни к чему другому не питали ненависти, то уж

бургундцев и англичан ненавидели горячо.

## ГЛАВА II

Наш Домреми ничем не отличался от любой серенькой деревушки той отдаленной поры. То была сеть кривых, узких проездов и проходов, где царила тень от нависших соломенных крыш убогих домов, похожих на амбары. В дома проникал скудный свет через окна с деревянными ставнями, то есть через дыры в стенах, служивших вместо окон. Полы были земляные, обстановка жилищ отличалась крайней бедностью. Овцеводство да рогатый скот были главным промыслом; вся молодежь была в пастухах.

Местоположение было очаровательно. Сбоку деревни, от самой околицы, широким полукругом раскинулся цветущий луг, подходя к берегу реки Мезы; а позади села постепенно возвышался поросший травой скат, на вершине которого был большой дубовый лес — глубокий, сумрачный, дремучий и несказанно заманчивый для нас, детей, потому что в старину не один путник погиб там от руки разбойника, а еще раньше того были там логовища огромных драконов, которые извергали из ноздрей пламя и смертоносные пары. По правде сказать, один из них еще ютился в лесу и в наши дни. Он был длиною с дерево, тело его в обхвате



было как бочка, чешуя — словно огромные черепицы, глубокие кровавые глаза — величиной со шляпу всадника, а раздвоенный, с крючками, точно у якоря, хвост так велик, как уж не знаю что, только величины необычайной даже для дракона, как говорили все знавшие в драконах толк. Предполагали, что дракон этот — ярко-синего цвета с золотыми крапинами, но никто его не видал, а потому нельзя было сказать этого с уверенностью; то было лишь устоявшееся предположение. Я мнения этого не разделял; по-моему, какой смысл создавать то или иное мнение, если не на чем его основать? Сделайте человека без костей; на вид-то он, пожалуй, будет хорош, однако он будет гнуться и не сможет устоять на ногах; и мне думается, что доказательство это — остов всякого мнения. Что касается дракона, то я всегда был уверен, что он был сплошь золотого цвета, без всякой синевы, ибо такова всегда была окраска драконов. Одно время дракон укрывался где-то совсем недалеко от опушки леса; подтверждением чего служит то обстоятельство, что Пьер Морель однажды пошел туда и, услышав запах, сразу узнал по нему дракона. Жутко становится при мысли, что иной раз мы, сами того не зная, находимся в двух шагах от смертельной опасности.

Будь это в стародавние времена, человек сто рыцарей отправились бы туда из далеких стран,

чтобы по очереди попытаться убить его и покрыть свое имя славой, но в наше время этот способ перестал применяться; теперь с драконами воюют священники. И отец Гильом взял на себя этот труд. Он устроил процессию со свечами, ладаном и хоругвями, и обошел опушку леса, и изгнал дракона, и после того никто о нем ничего не слышал, хотя, по мнению многих, запах так полностью и не улетучился. Не то чтобы кто-либо замечал этот запах — вовсе нет; это опять-таки было лишь частное мнение, и тоже — мнение без костей, как видите. Я знаю точно, что чудовище было там до процедуры изгнания; а осталось ли оно и после — этого я утверждать не берусь.

На возвышенности, ближе к Вокулеру, была красивая открытая равнина, устланная ковром зеленой травы; там стоял величавый бук, широко раскинувший ветви и защищая своей могучей тенью прозрачную струю холодного родника; и летними днями дети отправлялись туда — каждый летний день на протяжении пяти столетий! И пели и плясали вокруг дерева по несколько часов подряд, утоляя жажду ключевой водой. Как это было хорошо и весело! Они сплетали гирлянды цветов, вешая их на дерево и вокруг родника, чтобы порадовать живших там фэй; а тем это нравилось, потому что все феи — невинные и праздные маленькие существа, любящие все нежное и

красивое, вроде сплетенных в гирлянды диких цветов. И в благодарность за эти знаки внимания феи старались сделать для детей все, что было в их силах; они, например, заботились, чтобы источник всегда был чист, прохладен и обилен водой; они прогоняли змей и насекомых, которые жалят. И таким образом, на протяжении более пятисот лет (а по преданию — целое тысячелетие) между феями и детьми существовали самые дружественные, обоюдно доверчивые отношения, не омрачавшиеся никакими ссорами. Если кто-нибудь из детей умирал, то феи грустили о нем не меньше сверстников, и вот доказательство: перед рассветом, в день похорон, они вешали маленький венок из иммортелей над тем местом под деревом, где обыкновенно сидел умерший ребенок. Я убедился в этом воочию, не понаслышке. И вот почему все знали, что венок принесен феями: он весь состоял из черных цветов, каких во Франции нигде не встретишь.

И вот с незапамятных времен все дети, подраставшие в Домреми, назывались «детьми Древа»; и они любили это прозвище, потому что в нем заключалось какое-то таинственное преимущество, не дарованное остальным детям. А преимущество заключалось вот в чем: лишь только приближался для кого-нибудь из них час смерти, как среди смутных образов, теснившихся перед их

угасающим взором, вставало прекрасным и нежным видением дерево во всей роскоши своего наряда, если совесть умирающего была спокойна. Так говорили одни. Другие говорили, что явление бывает дважды: сначала как предостережение, за год или за два до смерти, когда душа еще находится во власти греха; и при этом дерево будто бы предстает с оголенными ветвями, словно среди зимы, а душу охватывает непреодолимый страх. Если наступает раскаяние и человек переходит к непорочной жизни, то видение является вторично, и на этот раз — в красоте летнего убора. Но оно не повторяется для души нераскаянной, и она переселяется в иной мир, заранее зная свою участь. А третьи говорили, что видение бывает только один раз, являясь лишь безгрешным, которые умирают на далекой чужбине и тоскливо жаждут какого-нибудь последнего милого напоминания о своей отчизне. И какое напоминание может быть так же дорого их сердцу, как образ дерева, которое было баловнем их любви, товарищем их забав, утешителем их маленьких горестей во все божественные дни улетевшей юности?

Итак, на этот счет были разные предания, одни верили первому, другие — другому. Одно из них — а именно последнее — я признаю истинным. Я ничего не возражаю против остальных; я думаю, что и они верны, но про истинность последнего я

знаю; и я нахожу, что если всякий будет придерживаться лишь того, что ему известно, не затрагивая вопросов, недостаточно ему доступных, то он приобретет большую устойчивость понятий, а в этом польза. Я знаю, что если «дети Древа» умирают в дальних странах и если они вели праведную жизнь, то, обратив тоскующий взор к своей родине, они видят как бы сквозь разорванную тучу, затемнявшую небеса, сияющий вдалеке ласковый образ Древа Фей, дремлющий в ореоле золотого света; и они видят цветущий луг, скатом идущий к реке, и до их угасающего обоняния доносится слабый и отрадный аромат цветов отчизны. И затем видение бледнеет, исчезает... но они знают, они знают! А по их преображенному лику и вы, стоя у смертного ложа, знаете; да, вы знаете, какая весть пришла сейчас, вы знаете, что весть эта ниспослана Небом.

Жанна и я — мы оба верили в это. Но Пьер Морель, Жак д'Арк и многие другие были уверены, что видение является дважды — грешникам. В самом деле, они и многие другие говорили, что точно знают это. Вероятно, их родители знали это и сообщили им: ведь в нашем мире познания приобретаются по большей части не из первых рук.

Вот одно обстоятельство, благодаря которому можно поверить, что действительно Древо являлось дважды: с самых незапамятных времен, если

замечали кого-нибудь из наших односельчан с побледневшим и помертвевшим от страха лицом, то соседи начинали перешептываться: «А, он осознал свои грехи, он получил предостережение!» И сосед содрогался от ужаса и отвечал шепотом: «Да, бедняга, он увидел Древо».

Подобные доказательства имеют все: их нельзя устранить мановением руки. То, что находит подтверждение в неизменности опыта на протяжении веков, естественным образом приобретает все большую и большую устойчивость; и если так будет продолжаться да продолжаться, то в конце концов подобное мнение делается неоспоримым — и уж это будет крепкая скала, которую не сдвинешь.

За свою долгую жизнь я наблюдал несколько случаев, когда Древо являлось вестницей смерти, которая была еще далеко; но ни один из умиравших не был во власти греха.

Нет, видение в этих случаях было лишь знамением особой милости; вместо того чтобы приберечь весть о спасении души до часа смерти, оно приносило эту весть задолго до того, а вместе с нею дарило спокойствие, которое уже не могло быть нарушено, — спокойствие души, навеки примиренной с Богом. Теперь уже я сам, хилый старик, жду с просветленной душой, ибо мне послано было видение Древа. Я видел его, я

счастливы.

С незапамятных времен дети, кружась хороводом вокруг Древа Фей, пели всегда одну и ту же песню Древа, песню *l'Arbre Fee de Bourlemont* Бурлемонское Древо Фей (*фр.*). . В этой песне звучала тихая грациозная мелодия, та отрадная и нежная мелодия, которая всю жизнь слышалась мне в часы душевного раздумья, когда мне было тяжело и тоскливо; она убаюкивала меня среди ночи и из дальних стран уносила на родину. Чужеземцу не понять, не почувствовать, чем была на протяжении столетий эта песня для заброшенных на чужбину «питомцев Древа», для бездомных скитальцев, тоскующих в стране, где не услышишь родного слова, не встретишь родных обычаев. Песня эта нехитра; вы, быть может, найдете ее жалкой, но не забывайте, чем была она для нас и какие образы прошлого она воскрешала перед нами, тогда и вы ее оцените. И вы тогда поймете, почему слезы навертывались у нас на глазах, затуманивая взор, и почему у нас голос прерывался, когда мы доходили до последних строк:

И если мы, в чужих  
краях,  
Будем звать тебя с  
мольбой,  
С словами скорби на

устах, —  
То осени ты нас  
собой!

Не забудьте, что Жанна д'Арк, когда была ребенком, пела вместе с нами эту песню вокруг Древа и всегда любила ее. А это освящает песню; да, вы с этим согласитесь.

**L'ARBRE FEE DE BOURLEMONT**  
*Детская песня*

Чем живет твоя  
листва,  
L'Arbre Fee de  
Bourlemont?  
Росою детских слез!  
Без слов  
Ласкаешь плачущих  
юнцов,  
К тебе спешащих,  
чтоб излить  
Перед тобою скорбь  
свою  
Тебя ж — слезами  
напоить.



И отчего твой ствол  
могуч,  
L'Arbre Fee de  
Bourlemont?

Оттого, что много  
лет

Любовь жила в  
сердцах детей

И берегла тебя  
любовь.

И лаской маленьких  
людей

Ты возрождалось в  
жизни вновь.

Не увядай у нас в  
сердцах,

L'Arbre Fee de  
Bourlemont!

И мы, до склона  
наших дней,

Пребудем в юности  
своей,

И если мы, в чужих  
краях,

Будем звать тебя с  
мольбой,

С словами скорби на

устах, —

То осени ты нас  
собой!

Когда мы были детьми, феи все еще находились там, хотя мы их никогда не видали, потому что за сто лет до того священник из Домреми совершил под Древом церковный обряд и проклял фей как исчадие дьявола, как тварей, которым закрыт доступ к спасению; а затем он запретил им показываться на глаза людям и вешать на Древо венки под угрозой вечного изгнания из нашего прихода.

Все дети заступились за фей, говоря, что те всегда были их добрыми друзьями, были им дороги и не сделали им ничего дурного; однако патер ничего не хотел и слушать и заявил, что стыдно и грешно водиться с такими друзьями. Дети плакали в безутешном горе; они договорились, что впредь всегда будут по-прежнему вешать на Древо гирлянды цветов как вечное знамение феям, что их все еще любят, что о них не забыли, хотя они и перестали быть видимы.

Но как-то поздно вечером нагрянула беда. Мать Эдмонда Обрэ проходила мимо Древа, а феи тайком устроили хоровод, не ожидая, что кому-нибудь случится здесь проходить; и они так разрезвились, так увлеклись диким весельем

пляски, так опьянели от выпитых бокалов росы, приправленной медом, что ничего не замечали; и кумушка Обрэ остановилась, охваченная изумлением, и смотрела, очарованная, как сказочные крошки, числом до трехсот, взявшись за руки, несутся вокруг дерева хороводом шириной в половину обыкновенной спальни, и откидываются назад, и разевают ротики, заливаясь смехом и песней (это она расслышала вполне явственно), и в веселом самозабвении вскидывают ножонками на целых три дюйма от земли, — о, ни одной женщине не пришлось видеть такую безумную и волшебную пляску!

Но через минуту-другую маленькие бедняжки увидели ее. В один голос они разразились надрывающим сердце писком скорби и ужаса и пустились бежать врассыпную, зажав крошечными, как орешки, кулачками глаза и проливая горячие слезы. И скрылись из виду.

Бессердечная женщина — нет, неразумная женщина, она не была бессердечна, но лишь безрассудна — тотчас пошла домой и разболтала обо всем соседям, покуда мы, юные друзья фей, спали крепким сном, не подозревая, какая нам грозит беда, и не помышляя, что нас следовало бы всем вскочить с постели и попытаться остановить эту роковую болтовню. Наутро уже все об этом знали, и, таким образом, несчастье было

неминуемо, ибо о чем все знают, о том знает, конечно, и священник. Мы пошли к отцу Фронту с плачем и мольбами; и он, видя нашу печаль, тоже не мог удержаться от слез, потому что у него было очень нежное и доброе сердце; он сказал, что вовсе не рад изгонять фей, да только не может иначе поступить, потому что ведь решено было, что если они когда-нибудь еще раз покажутся на глаза человеку, то должны быть изгнаны. Случилось все это в самую злосчастную пору, так как Жанна д'Арк лежала больная, в горячке, без сознания, а что могли поделать мы, не умевшие рассуждать и убеждать, как она? Мы гурьбой побежали к Жанне и звали ее: «Жанна, проснись! Проснись, нельзя терять ни минуты! Поди и заступись за фей — поди и спаси их! Вся надежда на тебя».

Но она была в бреду и не понимала, что мы ей говорили, чего добивались; и мы пошли обратно, чувствуя, что все потеряно. Да, все было потеряно, потеряно навеки. Преданные друзья детей, не разлучавшиеся с ними пять столетий, должны были покинуть наши места навсегда.

Горьким днем был для нас тот день, когда отец Фронт совершил у подножия Древа церковный обряд и изгнал фей. Мы не смели открыто носить траур — этого нам не позволили бы; пришлось довольствоваться кое-какими лоскутками черной материи, приколотыми к платью так, чтобы не

бросалось в глаза; но сердца наши облеклись в полный, благородный, всеобъемлющий траур, ибо наши сердца принадлежали нам, и никто не мог добраться до них, чтобы наложить запрет.

Великое Древо — l'Arbre Fee de Bourlemont было его звучное прозвание — с тех пор уже не было для нас тем, чем было раньше; но по-прежнему оно было нам дорого; оно дорого мне и теперь, и я, седой старик, отправляюсь туда раз в год, чтобы присесть под ним и воскресить перед собой умерших товарищей детства, и собрать их вокруг себя, и сквозь слезы смотреть на их лица... и чувствовать, как сердце надывается! О Боже!.. Нет, место с тех пор перестало быть тем, чем было прежде. Кое-что оно должно было утратить; ведь с прекращением покровительства фей родник лишился немалой доли своей свежести и прохлады, и воды в нем убыло на две трети, и изгнанные змеи и докучные насекомые вернулись и начали размножаться, сделавшись местным бичом, и остаются там и поныне.

Жанна, это мудрое маленькое дитя, выздоровела, и только тогда мы поняли, во что обошлась нам ее болезнь; ибо мы увидели, что не напрасно верили, что она могла бы спасти фей. Она пришла в такой сильный гнев, какого никто не ожидал бы от столь малого ребенка, и, тотчас отправившись к отцу Фронту, стала перед ним,

почтительно присела и сказала:

— Феи должны были удалиться навсегда, если бы вздумали еще хоть раз показаться на глаза людям, не так ли?

— Именно так, дитя мое.

— Если человек в полночь ворвется в спальню другого, когда тот полурасдет, то можно ли сказать, что тот показался на глаза первому?

— Ну нет, — ответил добрый патер, уже несколько встревоженный и растерянный.

— Неужели грех всегда остается грехом — даже в том случае, когда ты не имел намерения совершить его?

Отец Фронт воскликнул, воздев руки к небу:

— О бедное дитя мое, я уразумел всю глубину своей ошибки. — И он привлек ее к себе и обнял ее рукой, пытаясь лаской примирить ее, но она была так рассержена, что не могла сразу же перейти на мирный тон, и, припав лицом к его груди, разразилась рыданиями.

— Значит, феи не совершили никакого греха, — сказала она, — у них не было намерения совершить его, они ведь не знали, что поблизости находится человек. И только потому, что они — маленькие бессловесные создания, которые не могли замолвить за себя словечко и сказать, что закон направлен лишь против умысла, а не против их невинного проступка; только потому, что у них

не оказалось друга, который продумал бы эту простую мысль до конца и заявил бы о том в их защиту, — только потому их навеки изгнали из родины! Несправедливо было такое решение, несправедливо!

Добрый патер еще ближе привлек ее к себе и сказал:

— Устами детей и младенцев грудных произносится суд над нерадивыми и безрассудными! Перед лицом Господа говорю, что ради тебя я бы хотел вернуть маленьких созданий. И ради себя самого! Ради себя самого! Ибо неправосуден был я в этом деле. Полно, полно, перестань плакать — если бы ты знала, как огорчен я сам, твой бедный старый друг, перестань же плакать, голубушка.

— Но не могу же я сразу так перестать, дайте выплакаться. А это вовсе не пустяки — то, что вы наделали. Если вы немного огорчены — так разве этого довольно, чтобы искупить такую вину?

Отец Фронт отвернулся, чтобы скрыть от нее улыбку, которая могла бы ее обидеть.

— О жестокая, но справедливая обвинительница, конечно, этого не довольно. погоди, я надену власяницу и посыплю себе пеплом голову. Довольно с тебя?

Рыдания Жанны начали затихать, и вот она взглянула на старика сквозь слезы и простодушно

сказала:

— Хорошо, это годится, если только этим искупится ваша вина.

Отец Фронт, быть может, опять засмеялся бы, но вовремя вспомнил, что таким образом он принял на себя обязательство, и притом не из самых приятных. А обязательства надо выполнять. И вот он поднялся с кресла и подошел к очагу; Жанна между тем следила за ним с большим любопытством; он взял на лопатку пригоршню холодной золы и уже готовился посыпать ее себе на седины, но тут в его уме промелькнула счастливая мысль.

— Не хочешь ли помочь мне, голубушка? — сказал он.

— Как это, отец мой?

Он опустил на колени и, поникнув головою, ответил:

— Возьми пепел и посыпь его мне на голову.

Само собой, тем дело и кончилось. Победа была на стороне священника. Легко представить себе, что Жанне и любому из деревенских ребят показалась бы ужасной одна мысль о подобном кощунстве. Она подбежала и бросилась рядом с ним на колени.

— Ах, как страшно! — произнесла она. — Я до сих пор не знала, что значит власяница и пепел... Пожалуйста, встаньте, отец мой.



— Не могу, пока не получу прощения. Прощаешь ли ты меня?

— Я? Да ведь вы, отче, не причинили мне никакого зла. Это вы сами должны простить себя за несправедливый поступок с теми бедняжками. Пожалуйста, встаньте же, отец мой, встаньте!

— Но в таком случае мое положение еще затруднительнее. Я-то думал, что должен снискать твое прощение, а раз я сам должен себе простить, то я не могу быть снисходительным; не подобало бы это мне. Что же мне делать? Придумай для меня какой-нибудь выход, в твоей маленькой головке ведь ума палата.

Патер не трогался с места, несмотря на все просьбы Жанны. Она уже готова была снова расплакаться, но тут ее надоумило, и, схватив лопатку, она высыпала себе прямо на голову золу и пробормотала, задыхаясь и чихая:

— Ну, вот... конечно. Встаньте же, пожалуйста, отец мой! Старик, которого это и растрогало и позабавило, прижал ее к сердцу и сказал:

— Несравненное ты дитя! Такое мученичество смиренно; такого мученичества не стали бы изображать на картинах; но оно проникнуто духом истины и справедливости. Свидетельствую об этом!

Затем он смахнул пепел с ее волос и помог ей

умыться и вообще оправиться. Теперь он совсем развеселился и почувствовал расположение к дальнейшим рассуждениям, а потому он снова занял свое место и привлек к себе Жанну.

— Жанна, — начал он, — ты ведь нередко сплетала там, у Древа Фей, гирлянды цветов вместе с другими детьми, не так ли?

Он всегда подступал с этой стороны, когда хотел завлечь меня приманкой и поймать на слове, — всегда вот такой спокойный, равнодушный тон, которым так легко тебя дурачить, так легко направить в ловушку, а ты и не замечаешь, куда идешь, — опомнишься только тогда, когда дверца за тобой уже захлопнулась. Он очень любил эти штуки. Я уже видел, что он сыплет зернышки перед Жанной. Она ответила:

— Да, отец мой.

— А вешала ты гирлянды на Древо?

— Нет, отец мой.

— Не вешала?

— Нет.

— Почему же?

— Я... ну, да я не хотела этого.

— Не хотела?

— Нет, отец мой.

— А что же ты делала с цветами?

— Я вешала их внутри церкви.

— Почему же тебе не хотелось вешать их на

Древо?

— Потому что я слышала, будто феи сродни дьяволу, и мне говорили, что оказывать им почести грешно.

— И ты верила, что нехорошо оказывать им такую почесть?

— Да. Я думала, что это должно быть нехорошо.

— Но если нехорошо было так почитать их и если они сродни дьяволу, то ведь они могли бы оказаться опасными товарищами для тебя и для других детей, не правда ли?

— Я думаю, так... Да, я согласна с этим.

Он задумался на минуту, и я был уверен, что он собирается прихлопнуть капкан. Так оно и было. Он сказал:

— Дело обстоит ведь так. Феи — это гонимые твари; они бесовского происхождения; их общество могло бы оказаться опасным для детей. Так приведи же мне разумную причину, голубушка, если только ты будешь в силах придумать ее, почему ты считаешь несправедливым, если их обрекли на изгнание, и потому ты хотела бы их спасти от этого? Короче говоря, ты-то что потеряла?

Как глупо было с его стороны повести так дело! Будь он мальчишкой, я непременно намылил бы ему голову с досады. Он все время был на

верном пути и вдруг все испортил своим нелепым и роковым заключением. Она-то что потеряла! Да неужели он никогда не поймет, что за дитя эта Жанна д'Арк? Неужели он никогда не догадается, что ей никакого дела нет до того, что связано с ее личной выгодой или утратой? Неужели он никогда не постигнет той простой мысли, что есть одно, только одно верное средство задеть ее за живое и пробудить в ней огонь — это показать ей, что кому-то другому грозит несправедливость, или обида, или утрата? Право, он взял да и расставил сам себе западню — вот все, чего он достиг.

В ту же минуту, как эти слова сорвались у него с языка, Жанна вскипела, слезы негодования показались на ее глазах, и она обрушилась на него с таким воодушевлением и гневом, что он был поражен; но меня это не удивило, так как я знал, что он поджег мину, когда добрался до своей злополучной тирады.

— Ах, отец мой, как вы можете говорить подобные вещи? Кто владеет Францией?

— Бог и король.

— Не сатана?

— Сатана? Что ты, дитя мое: ведь эта страна — подножие Вседержителя, и сатана не владеет здесь ни единой пядью земли.

— Ну а кто же указал тем бедным созданиям их жилище? Бог. Кто охранял их на протяжении

всех этих столетий? Бог. Кто позволил им резвиться и плясать под деревом, кто не видел в том ничего дурного? Бог. Кто восстал против Божьего соизволения и пригрозил им? Человек. Кто захватил их врасплох среди невинных забав, дозволенных Богом и запрещенных людьми, кто привел в исполнение угрозу и изгнал бедняжек из обители, которую даровал им Господь Всеблагой и Всемиловитый, Господь, пять веков посылавшим им знамение Своего благоволения: и дождь, и росу, и солнечный свет? Ведь то была их обитель — их, волею и милосердием Господа, и ни единый человек не имел права отнять ее у них. А они ведь были самыми милыми и верными друзьями детей, они оказывали им нежные и любвеобильные услуги все эти долгие пять веков, они никого не обидели, не причинили никому зла; и дети любили их, а теперь грустят по ним, и нет исцеления их скорби. И чем провинились дети, что им пришлось понести эту жестокую утрату? Вы говорите, бедные феи могли бы оказаться опасными товарищами для детей? Да — но не были; а «могли бы» — разве это довод? Сродни дьяволу? Так что же? Сородичи дьявола имеют права, и они их имели; дети имеют права, и здешние дети их имели; и будь я здесь тогда, я не промолчала бы, я стала бы просить за детей и за сородичей дьявола, я остановила бы вашу руку и спасла бы их всех. Но теперь... ах, теперь

все потеряно! Все потеряно, и неоткуда ждать помощи!

Закончила она свои слова горячим осуждением той мысли, что феям, как сородичам дьявола, надо отказывать в людском сочувствии и дружбе, что надо от них сторониться, потому что им закрыт доступ к спасению. Она говорила, что именно по этой причине люди должны их жалеть и окружать их всяческой любовью и лаской, чтобы заставить их забыть о жестокой доле, которая досталась им по случайности рождения, а не по их собственной вине.

— Бедные созданыца! — сказала она. — Какое же сердце у того человека, который жалеет христианское дитя, но не чувствует жалости к детям дьявола, хотя тем это в тысячу раз нужнее!

Она вырвалась из рук отца Фронта и залилась слезами, утирая кулачками глаза и гневно топая ножкой. Вот она кинулась к дверям и ушла, прежде чем мы успели прийти в себя после этой бури упреков, после этого урагана страсти.

Патер, наконец, поднялся на ноги и постоял некоторое время, проводя рукой по лбу, как человек озадаченный и встревоженный; затем он повернулся и побрел к двери своей рабочей каморки. Он переступил через порог, и я слышал, как он пробормотал сокрушенно:

— Горе мне! Бедные дети, бедные сородичи

сатаны — у них действительно есть права, и она сказала истину... Я и не подумал об этом. Да простит мне Господь — я заслужил наказание.

Слыша эти слова, я убедился, что был прав, ожидая, не попадет ли он сам в свою же ловушку. Так оно и вышло, он сам попался туда, как видите. В первую минуту это придало мне бодрости, и я подумал, не удастся ли и мне когда-нибудь поймать его в капкан; но, поразмыслив, снова пал духом: куда мне!

## ГЛАВА III



По поводу этого рассказа я вспоминаю о множестве других событий, о которых я мог бы поговорить, но пока считаю за лучшее не касаться их. Сейчас я в таком настроении, что мне будет приятнее воскресить скромную картину простого и непритязательного уюта, царившего у наших



домашних очагов в те мирные дни, особенно в зимнее время. Летом мы, малыши, с утра и до вечера пасли стада на просторе нагорных пастбищ, где вволю можно было порезвиться и пошуметь; но зимой была спокойная пора, зимой была пора уюта. Частенько собирались мы у старого Жака д'Арк, в его просторной горнице с земляным полом. Ярко топилась печка, а мы выдумывали разные игры, пели песни, гадали, слушали, как старики рассказывают длинные были и небылицы. То да другое — смотришь, уж полночь.

Как-то зимним вечером собралась там вся наша компания — это было как раз в ту зиму, которую много лет потом вспоминали, как «лютую зиму», а в ту ночь погода особенно бушевала. На дворе дул сильный ветер, и его завывание действовало на нас возбуждающе; по-моему, это звучало даже красиво, потому что, думается мне, величественным, благородным и прекрасным кажется ветер, который злится, бушует и поет свою лихую песню, в то время как ты сидишь дома, среди тепла и уюта. А мы были именно в такой обстановке. Огонь гудел, дождь со снегом монотонно и ласково капал вниз по трубе; жужжанье веретена, смех и песни продолжались всю до десяти часов, а там подавался ужин из горячей похлебки, бобов и пирожков.

Жанночка сидела в сторонке, на одном

сундуке, а на другом стояла ее миска и лежала краюха хлеба; она была окружена своими любимцами, которые «помогали» ей. Любимцев у нее было больше, чем обыкновенно и чем допускала бережливость, потому что все бездомные кошки пристраивались к ней, а другие, бесприютные и невзрачные животные, прослышав об этом, тоже являлись и разносили молву дальше, другим тварям, и те тоже приходили. Птицы и прочие робкие и дикие обитатели лесов не боялись ее и всегда при встрече признавали в ней своего друга и, обыкновенно, завязывали с ней знакомство, чтобы получить приглашение на дом. Таким образом, у нее всегда было вдоволь представителей всех этих пород. Ко всем она относилась одинаково гостеприимно, так как всякая живая тварь была ей мила и дорога, просто потому, что это — живая тварь, независимо от того, какого она роду-племени. И она не признавала ни клеток, ни ошейников, ни цепей, предоставляя животным свободно приходить и уходить, когда им вздумается; это им нравилось, и они приходили; но нельзя сказать, что они всякий раз уходили, и потому они были страшной помехой в доме, так что Жак д'Арк из-за них изрядно бранился; однако жена возражала ему на это, что ребенку этот врожденный дар ниспослан Господом, а Бог знал, зачем Он так ее одарил, — значит, так оно и нужно: неразумно

было бы вмешиваться в Его дела, коли на то не было предубаждений. Итак, любимцев оставили в покое, и они, как я сказал, находились все тут же: кролики, птицы, белки, кошки и иные «рептилии» — все они окружили девочку и, проявляя немалую любознательность к ее ужину, помогали по мере своих сил. На ее плече сидела крошечная белка и, встав на задние лапки, вертела коготками черствый кусок доисторического каштанового пирога, выискивая наименее затвердевшие места; всякий раз, как ее поиски увенчивались успехом, она поматывала поднятым трубой пушистым хвостом и поводила заостренными ушами в знак благодарности и удивления, а затем отпиливала это местечко теми двумя тонкими резцами, которыми каждая белка снабжена именно для этой цели, а не для красоты. Красивыми ее передние зубы назвать нельзя — с этим согласится всякий, кто присмотрится к ней поближе.

Все чувствовали себя отлично, весело, непринужденно. Но вот идиллия прервалась: кто-то постучал в дверь. Оказалось, один из тех оборванных бродяг, которыми непрекращающиеся войны наводнили страну. Он вошел, весь в снегу, вытер ноги, отряхнулся, закрыл дверь, снял свою затасканную изорванную шапку и два раза шлепнул ею себя по бедру, чтобы стряхнуть снег, а затем обвел взором наше сборище; на его худощавом

лице появилось выражение удовольствия, а в глазах при виде яств отразились голод и вожделение; произнеся учтивое и заискивающее приветствие, он заговорил о том, как отрадно в подобную ночь сидеть у этакого огня, под защитой этакого крова, и вкушать такую богатую трапезу, и калякать с дорогими друзьями, — о да, вот уж по правде можно сказать, милостив будь, Господи, ко всем бездомным и к тем, что должны в этакую погоду тащиться по дороге.

Никто ничего не ответил. Бедняга, смутившись, стоял на том же месте и умоляюще смотрел то на того, то на другого, но не встретил приветливого взора; и его улыбка мало-помалу начала меркнуть, сглаживаться и — исчезла. И он потупил глаза, мускулы его лица дрогнули; он поднял руку, чтобы скрыть это проявление слабости, которое не подобает мужчине.

— Садись на место!

Грозный окрик этот исходил от старого Жака д'Арк и обращен он был к Жанне. Незнакомец вздрогнул и отнял руку от лица: перед ним стояла Жанна, предлагая свою миску с похлебкой.

Он произнес:

— Господь Всемогущий да благословит тебя, дитя мое!

И слезы ручьем потекли по его щекам, но он не смел принять миску.

— Слышишь? Садись на место, говорю тебе!

Не было ребенка уступчивее Жанны, но не так надо было ее уговаривать. Этого искусства ее отец не знал — да и не мог бы ему научиться. Жанна ответила:

— Батюшка, ведь он голоден — я же вижу.

— Пусть тогда заработает себе на хлеб. Такие молодчики обедают нас, выживают из дому, и я сказал, что больше этого не потерплю, и сдержу свое слово. В нем по лицу сразу узнаешь мошенника и негодяя. Садись, садись, говорят тебе!

— Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден, батюшка, и он получит мою похлебку — мне не хочется есть.

— Если ты не послушаешь меня, я... Негодьям вовсе не пристало приходить за едой к честному люду, и они не получают в этом доме ни куска, ни глотка! Жанна!!

Она поставила миску на крышку сундука, подошла и, став перед нахмуренным отцом, сказала:

— Батюшка, если ты не разрешишь мне, то пусть будет по-твоему. Но мне хотелось бы, чтобы ты задумался, тогда ты увидишь, что несправедливо было бы наказывать одну часть его тела за то, в чем повинна другая; ведь в злых делах повинна голова этого бедного путника, но не голова его голодна — голодает желудок, который никому не причинил

вреда, желудок, который не заслужил упрека и ни в чем не повинен и не сумел бы совершить преступление, даже если бы желал. Пожалуйста, позволь...

— Что это ты мелешь? Да я такой чепухи отроду не слыхивал!

Но тут вмешался Обрз, сельский староста, любитель словопрений и большой мастер по этой части, как все единодушно признавали. Встав со своего места и опершись руками на стол, он с непринужденным достоинством посмотрел вокруг себя, как подобает оратору, и начал говорить плавно и убедительно:

— Я не разделяю вашего мнения, кум, и беру на себя задачу доказать всем присутствующим, — тут он обвел нас взором и самоуверенно кивнул головой, — доказать, что в словах ребенка есть здравый смысл. Видите ли, в чем дело: не подлежит сомнению та непреложная и легко доказуемая истина, что голова человека есть властелин и верховный правитель всего тела. Допускаете? Не желает ли кто возразить? — Он опять глянул кругом: все выразили согласие. — Ну и отлично. А раз это так, то ни единая часть тела не ответственна, если она исполняет приказание, отданное головой; ergo Следовательно (*лат.*) , только голова ответственна за преступления, совершенные руками человека, или его ногами, или

желудком. Понимаете вы мою мысль? Прав ли я пока?

Все ответили «да!» — и ответили с восторгом, а иные говорили друг другу, что староста сегодня в ударе, как никогда. Это очень понравилось старосте, так что его глаза засверкали от удовольствия: похвалы не прошли мимо его ушей. И он продолжал тем же богатым и блестящим словом:

— Ну, рассмотрим же теперь, что такое — понятие об ответственности и какую роль оно занимает в разбираемом вопросе. Ответственно делает человека ответственным только за те деяния, за которые он ответствен в собственном смысле слова, — и он сделал широкий взмах ложкой, чтобы подчеркнуть обширность природы всех тех ответственностей, которые возлагает на людей ответственность.

Некоторые из слушателей благоговейно воскликнули: «Он прав! Он сумел выложить всю эту путаницу как на ладони! Просто диво!»

Он на минуту остановился, для вящего поощрения и усиления любопытства, и заговорил снова:

— Прекрасно. Предположим такой случай: щипцы упали человеку на ногу и причинили жестокую рану. Станете ли вы утверждать, что щипцы подлежат за это наказанию? Вы уже

ответили на вопрос: по вашим лицам вижу, что вы сочли бы подобное утверждение нелепым. Ну а почему же оно нелепо? Оно нелепо потому, что поскольку щипцы не обладают способностью мышления — иными словами, способностью лично распоряжаться своими действиями, — то личная ответственность за поступки щипцов безусловно лежит вне пределов щипцов; а следовательно, раз нет ответственности, не может возникнуть и наказание. Не правда ли? — (Гром горячих рукоплесканий послужил ему ответом.) — Ну вот, мы теперь подошли к желудку человека. Заметьте, в каком точном, дивном соответствии находятся роль щипцов в разобранным случае и роль желудка. Слушайте и, прошу вас, замечайте хорошенько. Может ли человеческий желудок замыслить убийство? Нет. Может ли он задумать кражу? Нет. Может ли он задумать поджог? Нет. А теперь ответьте — могут ли затеять все это щипцы? — (Возгласы восторга: «Нет! Оба случая точь-в-точь одинаковы! Как великолепно он все разобрал!») — Итак, мои друзья и соседи, желудок, который не может задумать преступление, не может быть и главным его исполнителем — видите, это ясно, как божий день. Итак, вопрос уже вложен в тесные рамки; мы сузим его еще более! Может ли желудок по собственному побуждению быть пособником преступления? Конечно, нет, ибо отсутствует



повеление, отсутствует мыслительная способность, отсутствует сила воли, как и в случае со щипцами. И теперь мы понимаем — не так ли? — что желудок совершенно безответствен за преступления, совершенные им полностью или отчасти. — (Единодушный ропот одобрения.) — Тогда каков же будет наш приговор? Да, очевидно, мы должны признать, что в нашем мире не существует виновных желудков; что в теле величайшего негодяя все-таки находится непорочный и безобидный желудок; что, каковы бы ни были поступки его господина, он, то есть желудок, в наших глазах должен быть свят; и что, раз Господь одарил нас разумом, способным думать справедливо, великодушно и благородно, то мы должны почитать не только своим долгом, но и своим преимуществом накормить голодный желудок, который пребывает в негодяе; мы должны сделать это не только из сострадания, но и в знак радости и благодарности, в воздаяние заслуг желудка, который мужественно и честно отстаивал свою чистоту и непорочность, невзирая на окружающий соблазн и на тесное соседство того, что так противоречит его лучшим чувствам! Я кончил.

Вам, я уверен, никогда не приходилось видеть такую восторженную картину! Они встали — все собрание встало — и начали хлопать в ладоши,

кричать «ура», и превозносить оратора до небес; и один за другим, не переставая рукоплескать и кричать, они подходили к нему — иные со слезами на глазах — и пожимали ему руки и говорили ему столько хорошего, что он был прямо-таки вне себя от гордости и счастья и не мог сказать ни слова — да он и не в силах был бы перекричать их. Торжественное было зрелище. И каждый говорил, что ему никогда не приводилось в своей жизни слышать подобную речь, да никогда и не придется. Красноречие — сила, в этом не может быть сомнения. Старый Жак д'Арк и тот увлекся, хоть один раз в жизни, и крикнул:

— Ладно, Жанна, дай ему похлебки!

Она была смущена и, по-видимому, не знала, что сказать. Дело в том, что она уже давным-давно отдала незнакомцу похлебку, и он уже успел всю ее прикончить. Ее спросили, почему она не подождала, пока не вынесут решения. Желудок человека, отвечала она, чувствовал голод, и неразумно было бы ждать, так как она не знала, каково будет решение. Ребенок, а какую она высказала добрую и дальновидную мысль.

Человек вовсе не оказался негодяем. Он был очень славный парень, только ему не повезло, а это, конечно, не считалось во Франции преступлением в те времена. Так как теперь уже была доказана невиновность его желудка, то сей последний

получил разрешение чувствовать себя как дома; и лишь только он хорошенько наполнился и получил удовлетворение, как у человека развязался язык, который оказался большим мастером своего дела. Путник много лет провел на войне, а его рассказы и его манера рассказывать высоко подняли в нас чувство любви к отечеству, заставили биться наши сердца и разгорячили нашу кровь. И прежде чем кто-либо сумел понять, как произошла перемена, он увлек нас в дивное странствие по высотам былой французской славы; и грезилось, что на наших глазах воскресают стихийные образы двенадцати паладинов Легендарные витязи, сподвижники Карла Великого, погибшие с Роландом в Ронсельванской долине. (*Примеч. пер.*) и становятся лицом к лицу со своей судьбой; нам слышался топот бесчисленных полчищ, стремившихся вниз по ущелью, чтобы закрыть им путь к отступлению; мы видели, как этот живой поток набегал и как волна откатывался назад, видели, как он таял перед горстью героев; мы во всех мелочах видели повторение этого грозного и несчастнейшего и в то же время наиболее дорогого нам и прославленного дня легендарного прошлого Франции; среди необъятного поля, где лежали убитые и умиравшие, то здесь, то там виден был один из паладинов; слабеющей рукой, собрав остаток сил, они продолжали геройскую сечу, и все

они, друг за другом, пали на наших глазах, пока не остался только один — тот, кому не было равного, тот, чье имя послужило названием «Песни Песней», а эту песнь ни единый француз не может слышать без воодушевления, без гордости за свою отчизну. А затем — зрелище наибольшего величия и скорби! — мы увидели и его горестную кончину; мы, затаив дыхание, с пересохшими губами ловили каждое слово рассказа, и в нашем безмолвии был отзвук того грозного безмолвия, которое царило на этом необъятном поле брани, когда отлетала душа последнего героя.

И вот незнакомец, среди этого торжественного молчания, погладил Жанну по головке и молвил:

— Маленькая дева, да сохранил тебя Господь! Нынче ночью ты возвратила меня от смерти к жизни. Послушай: вот тебе награда!

То была минута, которая давно соответствовала этой вдохновенной, стихийно увлекательной неожиданности: не сказав более ни слова, он возвысил голос, исполненный благородного и страстного одушевления, и полилась великая «Песнь о Роланде»!

Подумайте, как это должно было подействовать на взволнованных и разгоряченных слушателей, сынов Франции! О, куда девалось ваше сделанное красноречие? Чем оно показалось бы

теперь? Каким прекрасным, статным, вдохновенным певцом стоял он перед нами, с этой песнью на устах и в сердце! Как он весь преобразился, и куда девались его лохмотья!

Все поднялись и продолжали стоять, пока он пел. Лица у всех разгорелись, глаза сверкали, по щекам лились слезы. Невольно все начали раскачиваться в такт песни; слышались вздохи, стоны, возгласы горя; вот раздались последние слова: Роланд лежал умирающий, один-одинешенек, обратив лицо к полю битвы, где рядами и грудями лежали погибшие, и ослабевшей рукой протянул к престолу Всевышнего свою латную рукавицу, и с его бледнеющих уст слетела дивная молитва; тут все разразились рыданиями. Но когда замерла последняя, величественная нота и кончилась песня, то все, как один человек, бросились к певцу, словно помешавшись от любви к нему, от любви к Франции, от гордого сознания ее великих дел и древней славы, — и начали душить его в объятиях; но впереди всех была Жанна, которая прильнула к его груди и покрывала его лицо поцелуями страстного благоговения.

На дворе бушевала метель, но это уже было безразлично: приют незнакомца был теперь здесь, и он мог оставаться сколько ему угодно.

## ГЛАВА IV

У всех детей есть прозвища; так было и у нас. С малых лет каждый получал какое-нибудь прозвание, и оно за ним оставалось. Но Жанна была богаче: с течением времени она снискала себе новое прозвище, потом третье и так далее; наконец, у нее набралось их с полдюжины. Некоторые прозвища остались за ней навсегда. Крестьянские девушки вообще застенчивы; но она этим свойством так выделялась, так быстро краснела от малейшей причины, так сильно смущалась в присутствии незнакомых людей, что мы прозвали ее Стыдливой. Мы все были патриоты, но настоящей Патриоткой называлась она, потому что самые горячие наши чувства к родине показались бы ничтожными в сравнении с ее любовью. Называли ее также Красавицей — не только за необычайную красоту ее лица и стана, но и за прелесть ее душевных качеств. Все эти имена она оправдывала, как и другое прозвище — Храбрая.

Мы подрастали среди этой трудолюбивой и мирной обстановки и мало-помалу превратились в довольно больших мальчиков и девочек. Воистину мы были уже достаточно велики, чтобы не хуже старших понимать насчет войн, непрерывно свирепствовавших на севере и на западе; и мы уже не меньше старших волновались из-за случайных вестей, доходивших до нас с тех кровавых полей. Я

очень хорошо помню несколько таких дней. Как-то во вторник мы толпой резвились и пели вокруг Древа Фей и вешали на него гирлянды в память о наших утраченных маленьких приятельницах. Вдруг маленькая Менжетта воскликнула:

— Гляньте-ка! Что это такое?

Подобный возглас, выражающий удивление и испуг, всегда привлекает общее внимание. Мы все столпились в кучку; сердца трепетали, лица разгорелись, а жадные взоры были все направлены в одну и ту же сторону — вниз по откосу, туда, где находилась деревня.

— Да ведь это черный флаг.

— Черный флаг? Нет... будто бы?

— У самого глаза есть, не видишь, что ли?

— А ведь взаправду — черный флаг!

Случалось ли кому видать такую штуку раньше?

— Что бы это значило?

— Что? Это должно означать что-нибудь страшное, уж не без того!

— Не про то говорю, это и так понятно. Но что именно — вот вопрос.

— Вероятно, тот, кто несет флаг, сумеет ответить не хуже любого из нас — только имейте терпенье, пока он подойдет.

— Бежит-то он шибко. Кто это такой?

Одни называли одного, другие — другого; но вот все уже могли разглядеть, что это Этьен Роз по

прозвищу Подсолнечник, потому что у него были желтые волосы и круглое, покрытое рябью от оспы лицо. Его предки несколько сот лет тому назад переселились из Германии. Он во всю мочь спешил вверх по откосу и время от времени подымал над головой древко, развертывая в воздухе черное знамение скорби, между тем как все глаза следили за ним, все уста говорили о нем, и все сердца ускоренно бились от нетерпеливого желания узнать его новости. Наконец он подбежал к нам и, воткнув древко флага в землю, сказал:

— Вот! Стой здесь и будь олицетворением Франции, покуда я переведу дыхание. Франции больше не нужно иного знамени.

Замолкла беспорядочная болтовня. Словно весть о смерти нагрянула к нам. Среди этой жуткой тишины слышно было только прерывистое дыхание запыхавшегося гонца. Собравшись с силами, мальчик заговорил:

— Пришли черные вести. В Труа заключен договор между Францией и Англией с их бургундцами. В силу договора Франция предательски отдана во власть врагу, связанная по рукам и ногам. Все это придумано герцогом Бургундским и этой ведьмой — королевой Франции. Решено, что Генрих английский женится на Катерине французской...

— Неужели это не ложь? Дочь Франции



выйдет за азенкурского мясника? Возможно ли поверить этому! Ты, наверное, что-то слышал, да перепутал.

— Если ты этому не можешь поверить, Жак д'Арк, то тебе предстоит нелегкая задача, потому что надо ждать еще худшего. Дитя, которое родится от этого брака, будь то даже девочка, унаследует себе обе короны, английскую и французскую; и такое совмещение двух королевств будет принадлежать их потомству навеки.

— Ну, это уж точно ложь, потому что это было бы противно нашему салическому закону. В силу салического закона женская линия устранялась во французской монархии от престолонаследия. *(Примеч. пер.)*, а значит, это беззаконие, этому не бывать! — сказал Эдмонд Обрэ, прозванный Паладином за привычку хвастать, будто он в один прекрасный день разобьет в пух и прах неприятельскую рать. Он сказал бы больше, если бы его не заглушили возгласы остальных: все возмутились этой статьей договора, все заговорили в один голос, и никто не слушал других. Наконец Ометта уговорила их попритихнуть, сказав:

— Зачем же перебивать его на половине рассказа? Дайте ему, пожалуйста, закончить. Вы недовольны этим рассказом, потому что он вам кажется ложью. Будь это ложь — нам пришлось бы

ликовать, а не гневаться. Досказывай, Этьен.

— Сказ невелик: наш король, Карл Шестой, останется на престоле до своей смерти, затем вступает во временное управление Францией Генрих Пятый английский, пока его ребенок не подрастет настолько, чтобы...

— Этот человек будет править нами — мясник? Это ложь! Сплошная ложь! — вскричал Паладин. — Подумай к тому же, а дофин куда денется? Что сказано о нем в договоре?

— Ничего. У него отберут престол, а сам пусть идет, куда хочет.

Тут все загалдели в один голос, говоря, что в известии нет ни словечка правды. И все даже развеселились. «Ведь король наш, — успокаивали мы себя, — должен был бы подписать договор, чтобы он вошел в силу; а как же он мог бы дать свою подпись, видя, что это погубило бы его собственного сына?»

Но Подсолнечник возразил:

— А я тоже задам вам вопрос: подписала бы королева договор, лишаящий ее сына наследства?

— Эта змея? Конечно. О ней и речи нет. От нее и нельзя ждать лучшего. Нет такой низости, за которую она не ухватилась бы, — лишь бы насытить свою злобу; она ненавидит своего сына. Но ее подпись не имеет значения. Подписать должен король.

— Спрошу у вас еще одну вещь. В каком состоянии король? Безумный он или нет?

— Да, он безумен, и народ любит его за это еще больше. Он ближе к народу благодаря своим страданиям; а жалость к нему переходит в любовь.

— Правильно сказано, Жак д'Арк! Ну, так чего же вы ждете от того, кто безумен? Знает ли он, что делает? Нет. Делает ли он то, к чему побуждают его другие? Да. Теперь я могу сообщить вам, что он подписал договор.

— Кто заставил его сделать это?

— Вы знаете и так — мне незачем было бы говорить: королева.

Снова раздался единодушный крик негодования; все заговорили одновременно, и каждый призывал проклятья на голову королевы. Наконец Жак д'Арк сказал:

— Но ведь сплошь и рядом приходят неверные вести. Не было еще слухов ни о чем столь постыдном, как это, ни о чем, столь мучительном, столь унижительном для Франции. Поэтому есть еще надежда, что этот рассказ — тоже лишь злая молва. Где ты об этом услышал?

На его сестре, Жанне, не было лица. Она боялась ответа, и предчувствие не обмануло ее.

— Мы узнали от священника из Максэ.

Все замерли. Мы, видите ли, знали этого юре как человека правдивого.

— А он сам считает ли это правдой?

У всех нас сердца почти остановились. Ответ гласил:

— Да. Мало того: не только считает, но, по его словам, знает, что это правда.

Некоторые девочки заплакали; у мальчиков словно отнялся язык. Скорбь на лице Жанны была подобна тому выражению страдания, которое появляется в глазах бессловесного животного, получившего смертельный удар. Животное терпит муку без жалобы; так и Жанна не говорила ни слова. Ее брат Жак гладил ее по голове и ласкал ее локоны, чтобы показать свое сочувствие, и она прижала его руку к губам, целуя ее в порыве признательности и не произнося ни слова. Наконец миновала самая тяжелая минута, и мальчики начали говорить. Ноэль Рэнгесон воскликнул:

— Ах, неужели мы никогда не сделаемся мужчинами! Мы растем так медленно, а Франция никогда еще не нуждалась в солдатах так, как теперь, чтобы смыть это пятно позора.

— Я ненавижу эту пору юности! — сказал Пьер Морель, прозванный Стрекозой за свои выпученные глаза. — Все жди, жди, жди, а тем временем уж сто лет тянутся эти войны, и тебе так и не привелось до сих пор попытать счастья.

— Ну, что касается меня, так мне не придется долго ждать, — заметил Паладин, — и уж когда я

вступлю на военное поприще, то вы услышите кое-что обо мне, ручаюсь за это. Иные предпочитают, беря штурмом крепость, оставаться в задних рядах; а на мой вкус — дайте мне место впереди всех или же вовсе не надо. Я не желаю, чтобы впереди меня был кто-нибудь, кроме офицеров.

Даже девочкам переданся воинственный пыл, и Мэри Дюпон сказала:

— Я бы хотела быть мужчиной. Я бы отправилась сию же минуту! — И она осталась очень довольна своими словами и гордо посмотрела вокруг себя, ожидая похвал.

— Я тоже! — заявила Сесиль Летелье, раздувая ноздри, словно боевой конь, который почуял поле битвы. — Могу поручиться, что я не пустилась бы в бегство, хотя бы очутилась лицом к лицу со всей Англией.

— Хо-хо! — произнес Паладин. — Девчонки умеют хвастаться, но больше они ни на что не способны. Пусть-ка тысяча их выступит против горсти солдат — вот тогда вы посмотрите, что значит быстро бежать. Вон наша Жанночка — недостает, чтобы еще она затеяла пойти в солдаты!

Мысль была так забавна и вызвала такой дружный смех, что Паладин попытался продолжить шутку:

— Вы можете как воочию представить ее

себе: вот она устремляется в битву, словно опытный ветеран. Да, именно так; и не какой-нибудь жалкий, простой солдат вроде нас — нет, она будет офицером, заметьте, и у нее будет шлем с забралом, чтобы скрыть румянец смущения, когда она увидит перед собой армию незнакомых людей. Офицером? Непременно так — ей дадут чин капитана! Она будет капитаном, и ей дадут команду в сто человек — или, быть может, девушек. О, не такова она, чтобы быть простым солдатом! Боже ты мой, каким ураганом она налетит на вражескую армию и сомнет ее!

И он продолжал все в том же роде, так что все хохотали до слез, да оно и неудивительно: что могло быть (в то время) забавнее предположения, что вот это кроткое маленькое создание, которое мухи не обидит, которое не выносит вида крови и вообще так девственно и пугливо, — что оно ринется в битву, ведя за собой толпу солдат? Бедняжка, она сидела смущенная, не зная, куда деться от сыпавшихся со всех сторон насмешек. А между тем как раз в ту минуту подготовлялось событие, которое должно было изменить общую картину и показать всей этой детворе, что прав тот, кто смеется последним. Как раз тогда из-за Древа Фей показалось хорошо знакомое и внушавшее нам страх лицо: и нас всех обожгла мысль, что шальной Бенуа убежал на свободу и что мы на волосок от

смерти! Это оборванное, косматое и страшное чудовище выскочило из-за дерева и направилось к нам с поднятым топором. Мы все бросились кто куда, все девочки завизжали и заплакали. Нет, не все; все, кроме Жанны. Она встала, повернулась лицом к безумцу и осталась стоять. Мы быстро достигли леса, опушка которого примыкала к поляне, и спрятались под его защиту; кое-кто оглянулся назад, чтобы узнать, не догоняет ли нас Бенуа, и вот что мы увидели: Жанна стоит, а безумец, высоко подняв топор, приближается к ней. Зрелище, полное ужаса. Мы остановились как вкопанные; мы не могли двинуться с места. Я не желал видеть, как совершится убийство, и в то же время не мог отвести взгляд. Вот я вижу, что Жанна пошла навстречу человеку, — и не верю глазам. Вижу — он остановился. Погрозил ей топором, словно предупреждая, чтобы она не шла дальше, но она, не обращая внимания, идет — подошла к нему лицом к лицу, как раз под топор. Остановилась и, по-видимому, заговорила с ним. Я вдруг почувствовал тошноту, голова закружилась, все вокруг меня пошло ходуном, и не знаю, долго ли, коротко ли, но некоторое время я не мог ничего видеть. Когда это прошло и я глянул снова, Жанна шла рядом с человеком, держа его за руку; в другой ее руке был топор. Они направлялись к деревне.

Мальчики и девочки, друг за дружкой, начали

выползать из зарослей, и мы стояли, разинув рты, и во все глаза смотрели на тех двоих, пока они не вошли в деревню и не скрылись из виду. Вот тогда-то мы и прозвали ее Храброй.

Черный флаг мы оставили на том же месте, чтобы он исполнял свой печальный долг; а нам надо было теперь подумать о другом. Бегом пустились мы в деревню, чтобы предупредить народ и спасти Жанну от опасности. Хотя, думается мне, раз теперь топор был у Жанны, то преимущество оказалось бы не на стороне безумца. Мы прибежали, когда опасность уже миновала: сумасшедшего заперли. Все население спешило на маленькую площадь перед церковью, чтобы поговорить, поахать и подивиться; часа на два были забыты даже мрачные вести о договоре.

Женщины наперебой обнимали и целовали Жанну, хвалили ее и плакали, а мужчины гладили ее по голове и говорили, что ей бы следовало родиться мужчиной — тогда ее послали бы на войну, и уж наверно она заставила бы говорить о своих подвигах. Ей пришлось вырваться из объятий и прятаться: такая слава была слишком тяжелым испытанием для ее скромности.

Само собой, начали расспрашивать у нас подробности. Мне было так стыдно, что я постарался отделаться от первого же посетителя и потихоньку убежал назад, к Древу Фей, где я был



бы избавлен от этих мучительных для моего самолюбия вопросов. Там я застал Жанну, которая искала спасения от тяжести славы. Мало-помалу присоединились к нам и остальные, тоже спасавшиеся от допроса. Тут мы окружили Жанну, спрашивая, как это она набралась такой смелости. Она отвечала нам очень скромно и сдержанно:

— Вы поднимаете из-за этого много шума, но вы не правы: дело вовсе не стоит того. Он мне вовсе не чужой человек. Я знаю его и знала с давних пор; он тоже знает меня и любит. Много раз я протягивала ему пищу через решетку его клетки; а когда в последнем декабре ему отрубили два пальца, чтобы он боялся хватать и наносить раны прохожим, — то я перевязывала ему каждый день руку, пока она не зажила.

— Так-то оно так, — возразила маленькая Менжетта, — но, дорогая, все-таки он сумасшедший, и ни его привязанность, ни признательность, ни дружба — ничто не поможет, коли он разъярится. Ты подвергала себя большой опасности.

— Еще бы, — подтвердил Подсолнечник. — Разве он не грозил убить тебя топором?

— Да, грозил.

— И грозил несколько раз?

— Да.

— И ты не испытывала страха?

— Нет... по крайней мере, не очень —  
чуть-чуть.

— Почему же ты не испугалась?

Она с минуту подумала и сказала  
простодушно:

— Не знаю.

Этот ответ всех рассмешил. И Подсолнечник  
сказал, что это похоже на то, как если бы овца  
старалась додуматься, почему это ей удалось съесть  
волка, но не сумела бы объяснить.

— Почему ты не побежала вместе с нами? —  
спросила Сесиль Летелье.

— Потому что необходимо было водворить  
его снова в клетку, иначе он убил бы кого-нибудь.  
А тогда и ему самому не уйти бы от беды.

Замечательно, что этот ответ, из которого  
ясно, до какого самозабвения, до какого полного  
равнодушия к собственной безопасности доходила  
Жанна, помышлявшая и заботившаяся только о  
спасении других, — ответ этот был принят нами  
как очевидная истина, и никто из присутствующих  
не оспаривал его, не вдавался в рассуждения, не  
возражал. Это показывает, как ясно обрисовывался  
ее нрав и как хорошо он был всем известен.

Наступило молчание; быть может, мы все в  
это время думали об одном: о том, какую жалкую  
роль мы сыграли в этой истории и как мы были  
далеки от Жанны. Я пытался придумать

какой-нибудь хороший предлог, которым мог бы объяснить, почему я убежал и предоставил беззащитную девочку на произвол вооруженного топором безумца; но все объяснения, приходившие мне в голову, казались мне такими жалкими и шаткими, что я отказался от своей затеи и продолжал молчать. Но не все были столь же благоразумны.

Ноэль

Рэнгесон

потоптался-потоптался да и брякнул, сразу показав, чем были все время заняты его мысли:

— По правде сказать, я был захвачен врасплох. В этом все дело. Имей я хоть минуту, чтобы опомниться, я не побежал бы, как не побежал бы от грудного младенца. Ведь в конце-то концов, кто такой Теофиль Бенуа и чего ради я стал бы бояться его? Фу! Неужели можно испугаться этого несчастного? Пусть бы он появился вот сейчас — я бы показал вам!

— И я тоже! — подхватил Пьер Морель. — Уж он у меня полез бы на это дерево проворнее, чем... ну да, вы увидели бы, каков я! А то — застигнуть человека врасплох — это право... нет, я вовсе не хотел бежать, то есть бежать по-настоящему. Я и не думал бежать взаправду: я только хотел пошутить, а когда увидел, что Жанна стоит, а он грозит ей топором, то я едва сдержал себя, чтобы не кинуться на него и не выворотить у него все нутро. Я чувствовал неудержимый порыв

сделать это, и если бы пришлось опять, то я так бы и поступил! Если он еще явится дурачить меня, то я...

— Полно, цыц! — презрительно перебил его Паладин. — Послушать вас, молодцы, так можно подумать, что большое геройство — стоять лицом к лицу с этой жалкой развалиной человека! Да это — сущая безделица! Не велика честь справиться с таким — вот что скажу я вам. Да я знаю, что может быть легче, чем стать лицом к лицу с целой сотней ему подобных. Явись он сейчас сюда, я бы подошел к нему — вот так, не обращая внимания хоть на тысячи топоров, — и сказал бы...

И он все продолжал и продолжал описывать чудеса, которые он совершил бы, и храбрые речи, которые он говорил бы; а остальные время от времени вставляли свое словцо, тоже повествуя о грозных подвигах, которыми они отличаются, если этот безумец еще раз осмелится стать им поперек дороги. Уж в другой раз они будут наготове, и если он задумал вторично застать их врасплох — только потому, что один раз это ему удалось, — то они покажут ему, что он жестоко ошибается, — вот и весь сказ.

Итак, в конце концов им всем удалось восстановить свое доброе имя, даже кое-что прибавить к нему. И когда наше заседание закончилось, то каждый ушел, сохраняя в душе

лучшее о себе мнение, чем когда-либо.

## ГЛАВА V



Тих и отраден был поток тех юных дней. То есть, вообще говоря, это было так, потому что мы жили далеко от театра войны; но изредка шайки грабителей бесчинствовали и вблизи наших мест,

так что по ночам нам случалось видеть зарево подожженной фермы или деревни; и все мы знали или, по крайней мере, чувствовали, что когда-нибудь они подойдут еще ближе и настанет и наш черед. Этот тупой страх угнетал нас, словно тяжелая ноша; страх сделался еще напряженнее года через два после договора в Труа.

Поистине то была для Франции година бедствий. Однажды мы перебрались на ту сторону, чтобы помериться силами (как это случилось не раз) с ненавистными мальчишками из Максэ — приверженцами бургундцев. Нас поколотили, и мы, избитые и усталые, возвращались на наш берег уже вечером, когда порядком стемнело. Тут на колокольне ударили в набат. Мы пустились бегом и, добравшись до площади, застали там толпу взволнованных сельчан; лица были озарены зловещим светом дымившихся, ярких факелов.

На церковной паперти стоял незнакомец, бургундский священник, и передавал народу вести, заставлявшие слушателей то плакать, то гневаться, то роптать, то проклинать. Наш старый безумный король умер, говорил он, и теперь мы, и Франция, и престол составляем собственность младенца английской крови, который лежит в своей колыбели в Лондоне. И он убеждал нас выразить этому ребенку свои верноподданнические чувства и быть его преданными слугами и доброжелателями; и он

говорил, что теперь, наконец, у нас будет правительство могучее и незыблемое и что скоро английская армия соберется в последний поход; но поход тот закончится быстро, потому что довершить осталось лишь немного — осталось завоевать кое-какие клочки нашей страны, остающиеся под этой редкостной и почти забытой тряпкой — под знаменем Франции.

Народ бушевал и порывался кинуться на него; десятки людей грозили ему кулаками, воздетыми над морем освещенных лиц; то была дикая и волнующая картина. И патеру под стать было занимать в этом зрелище первое место: он стоял среди яркого света и с полным равнодушием и спокойствием смотрел вниз на этих раздраженных людей, так что нельзя было не преклониться перед его поразительным самообладанием, хотя в то же время всем хотелось сжечь его на костре. И его заключительные слова своей невозмутимостью превзошли все остальное; он рассказал им, как при погребении нашего старого короля французский герольдмейстер преломил свой жезл над гробом Карла VI, произнеся при этом во всеуслышание: «Генриху, королю Франции и Англии, нашему верховному государю, многие лета!» — и он предложил народу возгласить вместе с ним сердечное «аминь» этому пожеланию.

Все побледнели от ярости. У всех язык точно

прилип к гортани, и некоторое время никто не мог вымолвить ни слова. Но Жанна стояла совсем рядом; она взглянула ему в лицо и произнесла спокойным, серьезным тоном:

— Я хотела бы видеть, как голова у тебя слетит с плеч! — И после минутного молчания добавила, осенив себя крестным знамением: — Если бы на то была воля Божья.

Это стоит запомнить, и вот почему: то были единственные жестокие слова, какие Жанна сказала за всю свою жизнь. Когда я расскажу вам о всех бурях, о всех несправедливостях и притеснениях, которым она подвергалась, то вы подивитесь, что она только один раз в жизни произнесла страшные слова.

С того дня, когда пришли эти печальные вести, мы жили в постоянном страхе; грабители то и дело добирались чуть не до наших дверей. Опасность придвигалась все ближе и ближе, но по милости Неба мы до сих пор избегали погрома. Но наконец наступила действительно и наша очередь. Случилось это весной 1428 года. В глухую темную полночь бургундцы нагрянули с шумом и гамом, и мы повскакали с постелей, чтобы бегством спасти себе жизнь. Мы направились к Невшато и неслись как угорелые, в полном беспорядке — каждый старался обогнать других, каждый мешал другому. Но Жанна — только одна из всех нас — не



потеряла хладнокровия и создала порядок из этого хаоса. Она сделала это быстро, уверенно и толково, и наше паническое бегство вскоре превратилось в правильное, размеренное шествие. Согласитесь, что для такой молоденькой девушки это был немалый подвиг.

Ей было теперь шестнадцать лет; статная и стройная, она отличалась такой необычайной красотой, что я мог бы использовать всю цветистость языка для описания ее наружности и — все же не преступить границ истины. Кроткое и ясное чело ее было верным отражением чистоты ее духовной природы. Она была глубоко религиозна. Часто бывает, что религиозность придает человеку какой-то грустный облик. Но она была не такова. Религия наполняла ее внутренними красотой и спокойствием; и если она по временам бывала встревожена и ее лицо и осанка изобличали переживаемое ею страдание, то это была скорбь о своей родине, скорбь, ни единая доля которой не проистекала от веры.

Значительная часть нашей деревни была сожжена, и когда мы получили возможность без опаски вернуться назад, то нам пришлось испытать на себе все те страдания, от которых много лет — десятки лет! — изнывал народ в других краях Франции. В первый раз мы увидели разрушенные, обгорелые стены; наткнулись на улицах на туши

бессловесных животных, убитых только ради потехи, — в их числе были телята и овцы, любимцы детей, и тяжело было видеть малышей, плакавших над погибшими друзьями.

Налоги, налоги! Каждый думал об этом. Каково будет нести это бремя теперь нашей разоренной общине! Лица у всех вытянулись при одной этой мысли. Жанна сказала:

— Много лет уже вся остальная Франция платит налоги, не имея, чем платить. Но мы до сих пор не испытали этой горькой напасти. Теперь узнаем.

И она продолжала говорить о том же. Волнение ее возрастало. Ясно было, что эта забота наполняет все ее мысли.

Наконец мы увидели нечто ужасное. То был безумец — исколотый кинжалами и изрубленный на куски в своей железной клетке, на углу площади. Кровавое и страшное зрелище! Едва ли кто из нас, молодежи, видел когда-нибудь раньше человека, погибшего от насильственной смерти; оттого этот мертвец как-то зловеще приковал к себе наше внимание — мы не могли оторвать от него глаз. Впрочем, не на всех он подействовал именно так; на всех нас, кроме Жанны. Она отвернулась в ужасе и ни за что не соглашалась вторично взглянуть на убитого. В этом было поразительное предсказание, что мы — лишь рабы привычки; предсказание того,

как сурово и жестоко иногда относится к нам судьба. Ибо было predetermined, что спокойно доживут до старости именно те из нас, которых наиболее заворожило это зрелище кровавой и жестокой смерти, между тем как она, с врожденным и глубоким ужасом отвращавшаяся от крови, вскоре должна была видеть ее изо дня в день на полях сражений.

Вы легко можете поверить, что теперь у нас было вдоволь о чем потолковать; разгром нашей деревни казался нам величайшим событием мира. Ведь эти простодушные крестьяне в действительности еще ни разу не оценили во всей полноте размеров тех событий мировой истории, которые находили смутный отзвук в их представлениях, хотя им и казалось раньше, что они сознают сущность дела. Мелкое, но мучительное происшествие, представшее их невинным взорам и испытанное ими на собственной шкуре, сразу сделалось для них важнее самых величественных деяний давно минувшей старины, о которых они знали понаслышке. Теперь забавно вспомнить, как разглагольствовали тогда наши старики. То-то они сердились да ныли!

— Да! — сказал старый Жак д'Арк. — Времена настали, нечего сказать. Надо бы довести об этом до сведения короля. Пора уж ему перестать бездельничать да мечтать — пусть примется за свое

дело по-настоящему. — Он имел в виду нашего молодого, лишенного наследства короля, бездомного изгнанника, Карла VII.

— Правильно сказано! — заметил староста. — Надо бы сообщить ему. Разве можно терпеть такие вещи! Ты тут не знаешь, где преклонить голову, а он себе прохлаждается! Надо об этом рассказать всем — непременно надо! Пусть узнает вся Франция!

Послушать их, так можно было подумать, что все предшествовавшие десять тысяч погромов и поджогов были выдумкой, а только наш — настоящий. Так уж всегда: пока в беде твой сосед — ничего, довольно одних разговоров; а попадешь сам в беду, значит, пора королю встряхнуться и взяться за дело.

Великое событие вызвало много толков и среди нас, молодежи. Пасем стада и — говорим без умолку. Мы уж начали изрядно важничать: мне было восемнадцать, а остальным на год и даже на четыре больше, во всяком случае, уже не дети. Однажды Паладин начал высокомерно разносить французских вельмож-патриотов.

— Взгляните на Дюнуа, на побочного Орлеана, — какой же он полководец! Пусть только меня назначат на его место — я не стану говорить, что именно я сделаю: болтать языком вовсе не по моей части; я предпочитаю действовать, пусть

болтовней занимаются другие; но только поставьте меня на его место — вот и все! А возьмем хоть Сентрайля — просто тьфу! А этот хвастливый Ла Гир — неужели, по-вашему, и он личность?

Всем было как-то не по себе видеть такое презрительное отношение к этим великим именам. Ведь в наших глазах эти знаменитые полководцы были почти богами. Они, величественные и далекие от нас, представлялись нам какими-то смутными, огромными призраками, какими-то грозными тенями; и жутко было говорить о них как о простых смертных и запанибрата разбирать или осуждать их поступки. Жанна вспыхнула.

— Не понимаю, — сказала она, — как можно говорить так резко об этих необыкновенных людях: ведь они — истинные столпы французского государства, которое они поддерживают по мере своих сил и спасают ценою ежедневно проливаемой крови. Что касается меня, так я сочла бы великим счастьем, если бы мне выпала честь хоть один раз взглянуть на них — взглянуть только издали, потому что я недостойна близко даже подойти к любому из них.

На минуту Паладин смутился, прочитав в наших лицах, что слова Жанны были выражением наших общих чувств. Но он тотчас оправился и снова принялся разносить всех в пух и прах.

Жан, брат Жанны, заметил ему:

— Если тебе не по нутру то, что делают наши полководцы, то почему же ты сам не отправишься на войну и не исправишь их ошибок? Ты все толкуешь о сборах в поход, а сам — ни с места.

— Вот как! — возразил Паладин. — Легко сказать: иди! Изволь, я объясню, почему я остаюсь здесь и изнываю от мирного бездействия, столь противного моей природе, как ты знаешь. Я не иду, потому что я не дворянин. Вот в чем все дело. Что может в такой войне сделать один солдат? Ничего! Он не смеет и думать о повышении. Будь я дворянином — неужели я остался бы здесь? Да ни единой минуты! Я спас бы Францию. Ладно, смейтесь себе, но я-то знаю, какие силы таятся во мне, я знаю, что кроется под этой крестьянской шапкой. Я могу спасти Францию, и я готов сделать это — только не при настоящих условиях. Если я нужен — пусть пришлют за мной; а нет — сами будут виноваты. Но я не тронусь с места, пока меня не сделают офицером.

— Увы! Бедная Франция — Франция погибла! — заметил Пьер д'Арк.

— Чем фыркать на других, отчего тебе самому не отправиться на войну, Пьер д'Арк?

— О, за мной ведь тоже еще не прислали. Притом я такой же дворянин, как и ты. Но я пойду на войну; обещаю пойти. Я обещаю пойти в качестве простого солдата, под твоей командой,

Паладин, когда за тобой пришлют.

Все засмеялись, а Стрекоза сказал:

— Так скоро? В таком случае тебе пора уже собираться; тебя, пожалуй, позовут уже лет через пять — кто знает? Да, я уверен, что ты отправишься на войну через пять лет.

— Он отправится раньше, — сказала Жанна.

Она произнесла это тихо и задумчиво, но ее слова были услышаны всеми.

— Откуда ты знаешь, Жанна? — удивленно спросил Стрекоза. Но его перебил Жан д'Арк:

— Я тоже хотел бы пойти, но так как я слишком молод, то тоже подожду и отправлюсь, когда пришлют за Паладином.

— Нет, — сказала Жанна, — он отправится вместе с Пьером.

Она точно говорила сама с собой — вслух, но бессознательно; и на этот раз я один услышал ее слова. Я взглянул на нее; ее вязальные спицы бездействовали, лицо ее сделалось каким-то мечтательным, не от мира сего. Губы ее слегка двигались, как будто она произносила про себя отрывки фраз. Но она говорила беззвучно: я стоял ближе всех и ничего не слышал. Однако я насторожил слух, потому что те две фразы несказанно поразили меня: я суеверен, и всякая мелочь, если она необычна и странна, легко может меня взволновать.

Ноэль Рэнгесон сказал:

— Есть только одно средство, которое могло бы спасти Францию. У нас в деревне есть по крайней мере хоть один дворянин. Почему бы Школяру не поменяться с Паладином своим именем и званием? Тогда он сделался бы офицером, Франция прислала бы за ним, и мы, словно мух, смели бы в море все эти полчища бургундцев и англичан.

Школяр — это был я. Меня прозвали так, потому что я умел читать и писать.

Хор одобрения был ответом на шутку Ноэля. А Подсолнечник добавил:

— Вот это будет в самый раз, этим устраняются все затруднения. Сьер де Конт охотно согласится. Да, он отправится в поход под командой Паладина и падет во цвете лет, покрытый славой простого солдата.

— Он пойдет вместе с Жаном и Пьером и будет жить, пока не забудется эта война, — пробормотала Жанна, — и в одиннадцатом часу Ноэль и Паладин присоединятся к ним, но не по доброй воле.

Ее голос был так тих, что я не могу поручиться за точную передачу слов; во всяком случае, так мне послышалось. Жутко слышать такие вещи.

— Итак, — продолжал Ноэль, — все



налажено; осталось только сплотиться под знаменем Паладина и идти освобождать Францию. Вы все примкнете к нам?

За исключением Жака д'Арк, все изъявили согласие.

— Прошу уволить меня, — сказал Жак. — Беседа о войне — вещь прекрасная, и в этом я всегда вам сочувствовал, и я всегда думал, что пойду в солдаты, как только вырасту. Но вид нашей разгромленной деревни и этот изуродованный, кровавый труп безумца показали мне, что я вовсе не создан для такой работы и для подобных зрелищ. Это ремесло мне не по нутру. Подставлять себя под удары меча, под выстрелы пушек, идти на смерть? Это не по мне. Нет, нет, на меня не рассчитывайте. К тому же я ведь старший из сыновей, я — будущая опора и защита семьи. Раз уж вы собираетесь взять на войну Жана и Пьера, то должен же кто-нибудь остаться здесь, чтобы позаботиться о Жанне и другой сестре. Я останусь дома и доживу до спокойной и безмятежной старости.

— Он останется дома, но не доживет до старости, — пробормотала Жанна.

Болтовня продолжалась в том жизнерадостном и беззаботном тоне, который является достоянием юности. Паладин рассказывал планы своих походов, вступал в свои битвы, одерживал победы, истреблял англичан, возводил

короля на престол и возлагал ему на голову корону. Мы спросили, что он скажет, когда король предложит ему самому назначить себе награду. У Паладина ответ был уже готов заранее, и он произнес без запинки:

— Он должен дать мне герцогство, сделать меня главным пэром и возвести меня в сан наследственного великого коннетабля Франции.

— И женить тебя на принцессе — ты ведь не забудешь упомянуть и об этом?

Паладин немного покраснел и резко возразил:

— Пусть оставляет принцесс при себе — я найду невесту сам, по своему вкусу.

Он имел в виду Жанну, хотя в то время никто не догадался. Если бы догадались, то Паладина подняли бы на смех за его самомнение. Во всей деревне никто не был достоин Жанны; всякий сказал бы так.

Каждый из присутствовавших, по очереди, должен был сказать, чего он потребовал бы от короля, если бы мог поменяться местами с Паладином и совершить те чудеса, которые тот собирался привести в исполнение. Ответы были шуточные, и каждый старался превзойти остальных беспредельностью притязаний. Дошла очередь до Жанны, и когда ее вызвали из мира грез и попросили высказаться, то пришлось объяснить ей, в чем дело, так как ее мысли были далеко и она не

слышала последней части нашего разговора. Она подумала, что от нее ждут серьезного ответа, и ответила искренно. Некоторое время она молчала, обдумывая; затем сказала:

— Если бы дофин, по своему милосердию и благородству, сказал мне: «Вот теперь я богат и восстановлен в правах своих; выбирай и дастся тебе», — то я опустилась бы на колени и попросила бы его приказать, чтобы наша деревня на вечные времена была освобождена от налогов.

Это было сказано так просто и от всего сердца, что растрогало нас, и мы не засмеялись, а задумались. Мы не засмеялись. Но наступил день, когда мы с печальной гордостью вспомнили эти слова, и мы порадовались, что не смеялись над ними, потому что тогда мы поняли, сколько благородства было в ее словах, и увидели, с какой прямою она оправдала их в свое время, прося у короля именно этой милости и не желая ничего для себя самой.

## ГЛАВА VI

Все свое детство и до четырнадцати с лишним лет Жанна была самым жизнерадостным и веселым существом в деревне; вечная попрыгунья, вечная хохотушка, заразительно и счастливо смеявшаяся! И за этот нрав, за теплоту и отзывчивость души, за

пленительность и прямоту обращения ее любили решительно все. Она всегда горячо любила отчизну, почему иногда вести о войне притупляли ее веселость, терзали ее сердце и знакомили ее с горечью слез; но всякий раз, лишь только проходили мимо черные тучи, она веселела и становилась снова прежней Жанной.

Но вот уже года полтора, как настроение Жанны изменилось, сделалось каким-то грустным; она не была печальна, но много задумывалась, забывала об окружающем, отдавалась мечтам. Она носила Францию в своем сердце, и ее ноша была нелегка. Я знал, что именно в этом причина ее тревоги, другие же приписывали ее рассеянность религиозному самозабвению; она почти ни с кем не делилась своими мыслями, но мне кое-что сообщала, и потому я лучше других знал, чем поглощены ее помыслы. Нередко мне приходило в голову, что у нее есть тайна — тайна, которую она всецело хранит в себе, скрывая и от меня, и от других. Эта догадка зародилась во мне потому, что несколько раз она останавливалась на полуслове или переменяла предмет разговора в такую минуту, когда казалось, что она готова нечто поведать. Мне суждено было раскрыть эту тайну, но только не сейчас.

На другой день после описанного разговора мы все были на пастбище и, по обыкновению,

принялись толковать о Франции. Ради Жанны я до сих пор всегда старался говорить с надеждой на лучшее будущее; но я лгал, потому что в действительности во всей Франции не на чем было повесить клочка надежды. А лгать ей в глаза было так мучительно; так стыдно было преподносить это предательство той, кто была белоснежно чиста от вероломства и лжи, той, кто даже не подозревал о существовании подобной низости в других; так тяжело было кривить душой, что я решил повернуть назад и начать все сызнова и никогда больше не оскорблять ее лживыми речами. Итак, я пустился в новую политику и сказал (и конечно, открыл свои действия маленькой ложью, потому что привычка — вторая натура и ее никак не вышвырнешь сразу в окошко: приходится ласково уговаривать ее сойти вниз, ступенька за ступенькой):

— Жанна, прошлой ночью я все думал о том же и пришел к выводу, что мы все время заблуждались; что положение Франции отчаянно; что оно было отчаянным еще со дня битвы при Азенкуре; и что теперь оно более чем отчаянно — оно безнадежно.

Я говорил, но не смел посмотреть ей в лицо. Да и кто решился бы на моем месте? Разбить ее сердце, разрушить надежды такой неприкрашенной, жестокой речью, не смягчив ее ни единым

благотворным словом, — как это было постыдно! Но вот я кончил, от сердца отлегло, и совесть моя воспарила ввысь; и я взглянул, как это на нее подействовало. Никак. По крайней мере, не того я ждал. В ее задумчивых глазах было чуть заметное выражение изумления — вот и все. И она произнесла, просто и невозмутимо, как всегда:

— Положение Франции безнадежно? Почему ты думаешь так? Объясни.

Если вы боитесь чего-то неотвратимого, что должно причинить боль дорогому вам человеку, то как отрадно видеть, что ваши опасения оказались напрасными! Я почувствовал облегчение и теперь мог высказаться вполне, без утайки, без смущения. И я приступил:

— Оставим в стороне тонкие чувства и патриотические мечтания и разберем действительную суть дела. Что же мы видим? Обстоятельства дела так же красноречивы, как цифры в счетной книге купца. Достаточно подсчитать оба столбца, чтобы убедиться в несостоятельности французского торгового дома и увидеть, что на половину его собственности уже наложен запрет английским шерифом, тогда как другая половина — неизвестно в чьих руках: во власти тех безответственных грабителей и разбойников, которые никому не приносят присяги. Наш король, позорно бездеятельный и

обнищавший, заперт со своими любимыми царедворцами и шутами в крохотном уголке своего королевства и нигде не имеет власти, не имеет за душой ни гроша, не имеет солдат; он не сражается и не намерен сражаться, не помышляет о дальнейшем сопротивлении. Поистине единственное, к чему он готовится, это махнуть рукой на все, бросить корону в канаву и убежать в Шотландию. Вот обстоятельства дела. Верно ли?

— Да, все верно.

— Значит, так оно и выходит: стоит только подсчитать, и вывод ясен.

Она спросила спокойным и ровным тоном:

— Какой вывод? Что дело Франции проиграно?

— Очевидно. Разве можно сомневаться в этом, если налицо такие данные.

— Как ты можешь думать это? Как ты можешь чувствовать так?

— Как я могу? А разве я могу думать или чувствовать иначе перед лицом очевидности? Жанна, неужели, видя эти роковые цифры, ты действительно питаешь какую-нибудь надежду?

— Надежду! Больше того. Франция вернет себе свободу и сохранит ее. Не сомневайся в этом.

Мне начало казаться, что на ее ясный ум нашло временное затмение. Очевидно, это было так, иначе она поняла бы, что все данные могли

говорить только об одном. Может быть, если я перечислю все снова, она увидит? Итак, я сказал:

— Жанна, твое сердце, которое боготворит Францию, обмануло твой разум. Ты не понимаешь смысла этих цифр. Вот я набросаю тебе общую картину — начерчу палкой на земле. Здесь вот я грубо обрисовал Францию. Посередке, с востока на запад, провожу реку.

— Так, Луару.

— Ну, вся северная половина страны — в цепких когтях англичан.

— Да.

— А вот эта часть — южная половина — в ничьих руках, как это признано нашим королем, ибо он готовится к бегству в чужие страны. У Англии здесь стоят войска; сопротивления никакого; она может занять всю страну, когда ей вздумается. Поистине Франции нет, вся Франция уже погибла, Франция перестала существовать. То, что было Францией, теперь — английская провинция. Верно ли?

Ее голос был тих, слегка взволнован, но отчетлив:

— Да, верно.

— Прекрасно. Теперь добавь одно решающее обстоятельство, и сумма получится полная. Когда французские войска одержали последнюю победу? Шотландские войска, правда, несколько лет тому



назад одержали одну или две жалкие победы под нашим знаменем — но я говорю о французских. С тех пор как восемь тысяч англичан двенадцать лет назад почти истребили при Азенкуре шестнадцать тысяч французов — с тех пор французская доблесть надломлена. И теперь вошло в пословицу, что пятьдесят французских солдат побегут, заведя пятерых английских.

— Прискорбно, но даже и это правда.

Я был уверен, что теперь она ясно увидит все. Я думал, что теперь она поневоле убедится в моей правоте и признает сама, что больше нет никакой надежды. Но я ошибался; я был разочарован. Она ответила без малейшей тени сомнения:

— Франция воспрянет. Увидишь.

— Воспрянет? Когда на ее спине это тяжелое бремя неприятельских войск?

— Она сбросит это бремя; она растопчет его.

Это было сказано с воодушевлением.

— Не имея солдат, будет сражаться?

— Барабанный бой созовет их. Они откликнутся, они выступят в поход.

— Выступят спиной к врагу?

— Нет, лицом к врагу — вперед, все вперед!

Увидишь сам.

— А нищий король?

— Он взойдет на престол, он наденет венец.

— Ну, по правде сказать, от таких речей

голова кругом идет. Кабы я мог поверить, что через тридцать лет будет свергнуто английское владычество и что на голову французского монарха будет возложена настоящая корона, знак верховной власти...

— Не пройдет и двух лет, как свершится и то и другое.

— Действительно? А кто же совершит все эти дивные невозможности?

— Бог.

Ясно прозвучал этот тихий и благоговейный ответ.

Откуда у нее взялись эти странные мысли? Вопрос этот неотступно занимал меня в течение двух или трех последующих дней. Неизбежно возникала догадка: не помешалась ли она? Чем иначе объяснить все это? Грустные, неустанные думы о невзгодах Франции поколебали ее сильный разум и населили ее фантазию несбыточными призраками. Да, это несомненно так.

Но я следил за ней, подвергал ее испытаниям — и приходилось разубеждаться. Ее взгляд был по-прежнему ясен и сознателен, ее поступки естественны, ее речи связны и толковы. Нет, ее разум не помутился, но по-прежнему был самым светлым и здравым во всей деревне. Она продолжала думать за других, брала на себя чужие

заботы, жертвовала собой ради других — как всегда. Она продолжала ухаживать за больными и убогими и по-прежнему была готова уступить свою постель страннику, устроившись сама на полу. Тайна существовала, но не в помешательстве была ее разгадка. Это было очевидно.

Наконец, ко мне в руки попал ключ ее тайны. И вот как это случилось. Вы слышали, как весь мир говорил о том, о чем я собираюсь вам рассказать, но вы не слышали ни одного рассказа очевидца.

Однажды — это было 15 мая 1428 года — я возвращался, идя с другой стороны холма; достигнув опушки дубового леса, я только собирался выйти на поросшую дерном поляну, где стоял волшебный бук, но сначала взглянул из-за кустарника и — попятился назад, спрятавшись под покровом листвы. Дело в том, что я увидел Жанну, и мне захотелось как-нибудь подшутить над ней. Подумать только: эта пошлая затея едва не соприкоснулась с событием, которому суждено навеки запечатлеться в истории и в народных песнях!

День был пасмурный, и над зеленой поляной, где стояло Дерево, царила мягкая, богатая тень. Жанна сидела на природной скамейке, образованной большими узловатыми корнями Древа. Руки ее покоились на коленях. Она слегка склонила голову к земле; и было заметно, что она

углубилась в думы, витает в мире грез, забыла о себе самой и об окружающем мире. И тут я заметил нечто чрезвычайно странное: то была белая тень, медленно скользившая по траве, по направлению к Древу. Тень была величественна по своим размерам — какой-то крылатый призрак, в мантии. И белизну тени я не решился бы с чем-либо сравнить, разве — с белизной молнии. Но даже у молнии не бывает такой поразительной белизны: на молнию можно смотреть без боли, а этот блеск был так ослепителен, что я почувствовал боль в глазах и прослезился. Я обнажил голову, догадавшись, что стою перед чем-то Божественным. Страх и трепет овладели мной, так что мое дыхание стеснилось и замерло.

Другая странность. Лес только что безмолвствовал, в нем царила та глубокая тишина, которая наступает при появлении темной грозовой тучи, когда все лесные твари в испуге умолкают. Теперь же все птичьи голоса сразу слились в одну общую песнь, исполненную неопишемого ликования, воодушевления, восторга; и песнь была столь красноречива и трогательна, что я не мог больше сомневаться: совершалось Божественное таинство. При первом же звуке птичьих голосов Жанна упала на колени и низко склонила голову, скрестив на груди руки.

Она еще не видала тени. Не птицы ли

возвестили ей о ее приближении? Вероятно, да. В таком случае это должно было повторяться и раньше. Да, в том не может быть сомнения.

Тень медленно приближалась; вот она коснулась Жанны, озарила ее, окутала своим грозным великолепием. В этом сиянии бессмертия ее лицо, до тех пор лишь человечески прекрасное, приобрело божественную красоту. Ее простое крестьянское платье, преображенное этим потоком лучей, уподобилось одеянию тех светозарных Божьих детей, сидящих на ступенях Престола, которых мы встречали в наших сновидениях и грезах.

Вот она встала; голова ее все еще была немного наклонена, руки опустились, и пальцы слегка переплелись. Она стояла вся пронизанная дивным светом, но, по-видимому, не сознававшая того, и словно вслушивалась; однако я ничего не слышал. Вскоре она подняла голову и посмотрела вверх, как будто ей приходилось глядеть в лицо великану, — и сложила руки, высоко подняла их с мольбой и словно начала о чем-то просить. Я разобрал некоторые слова. Я расслышал, как она говорила:

— Но я так молода! Ах, я слишком молода, чтобы оставить свою мать и родные места, пойти в чуждый мне мир и взяться за такое великое дело! Ах, как я могу говорить с мужчинами, быть их

сотоварищем, да еще с солдатами! Я должна буду терпеть оскорбления, обиды, презрительные насмешки. Как могу я пойти на великую войну и стать во главе армии? Я, девушка, ничего в этом не понимающая, не умеющая владеть оружием, ни ездить верхом... Но если так повелено...

Ее голос дрогнул, прервался рыданиями, и я не мог больше слышать ее слова. И тогда я опомнился. Я познал, что вторгаюсь в тайну Божию, — какова же будет мне кара за это? Я испугался и углубился подалее в лес. Тут я сделал зарубину на стволе дерева, говоря себе, что, быть может, я сплю и никакого видения не было. Я вернусь сюда, когда буду уверен, что я бодрствую, и посмотрю, окажется ли моя заметка на месте. И тогда я все пойму.

## ГЛАВА VII



Кто-то окликнул меня по имени. То был голос Жанны. Я вздрогнул: как она могла узнать о моем присутствии? Я сказал себе: значит, сон еще не кончился; все это был только сон — и голос, и тень, и все остальное; это проделки фей. И, перекрестившись, я произнес имя Бога, чтобы

разогнать чары. Теперь я знал, что не сплю, потому что никакое колдовство не устояло бы перед таким заклинанием. Оклик повторился; я тотчас вышел из зарослей; передо мной действительно была Жанна, но не такая, какую я видел ее во сне. Она теперь не плакала, но была похожа на ту Жанну, которую мы знали полтора года назад, когда у нее на сердце было легко, а на душе весело. Вернулось ее прежнее одушевление, возгорелся пламень, и в ее лице, в ее осанке было что-то восторженное. Она как будто только что очнулась от какого-то волшебного сна. Поистине казалось, что она только что была где-то далеко, недостижимая для нас, — и вернулась к нам наконец; и мне сделалось так радостно, что я хотел бы созвать всех сюда, чтоб поздравили ее с прибытием. Взволнованный, я подбежал к ней и сказал:

— Ах, Жанна, я сейчас расскажу тебе нечто такое удивительное! Ты и представить себе не можешь! Я видел сон: ты стояла как раз на том месте, где стоишь сейчас, и...

Она подняла руку и сказала:

— Это не был сон.

Я опешил; боязнь опять начала овладевать мною.

— Не сон? Откуда ты знаешь, Жанна?

— Спишь ли ты сейчас?

— Я... я думаю, что нет. Вероятно, нет.



— Нет, не спишь. Я знаю, что не спишь. И ты не спал и тогда, когда делал заметку на дереве.

Я похолодел от ужаса, потому что теперь не оставалось никаких сомнений, что я не спал, но действительно был очевидцем чего-то страшного, чего-то сверхъестественного. И тут я вспомнил, что грешными стопами я попираю священную землю — ту землю, которой коснулась священная тень. Я ринулся прочь, содрогаясь от страха. Жанна догнала меня.

— Не бойся; пугаться нечего, — сказала она. — Пойдем со мной. Сядем у родника, и я расскажу тебе свою тайну.

Она уже готова была начать, но я перебил:

— Сначала скажи мне вот о чем. Ведь ты не могла видеть меня в лесу; как же ты узнала, что я сделал заметку на дереве?

— Подожди. Дойдем и до этого, узнаешь все.

— Но объясни мне теперь хоть одно: чья это была грозная тень?

— Изволь, скажу. Только не пугайся, опасности нет. То была тень архангела Михаила, вождя и предводителя рати Небесной.

Я перекрестился и затрепетал при мысли, что я осквернил стопами эту землю.

— Тебе не было страшно, Жанна? Видела ли ты его лик, его стан?

— Да, но мне не было страшно, потому что

это случилось уж не в первый раз. А в первый раз — боялась.

— Когда это было, Жанна?

— Года три тому назад.

— Так давно? И много ли раз ты видела его?

— Да, много.

— Вот почему ты так переменилась; вот почему ты стала такой задумчивой, не похожей на прежнюю Жанну. Теперь понимаю. Почему ты никому не рассказывала об этом?

— Мне не было позволено. Теперь можно, и вскоре я расскажу обо всем. Но пока — только тебе. Еще несколько дней это должно оставаться тайной.

— А раньше никто не видел этой белой тени?

— Никто. Она нисходила на меня несколько раз, когда были тут и другие, и ты, но никто не мог ее увидеть. Сегодня было иначе; и мне сказано почему. Но больше она никогда не будет видима.

— Значит, в этом было знамение мне? Знамение, имеющее особый смысл?

— Да, но я не имею права говорить об этом.

— Странно, что этот ослепительный свет может явиться перед твоими глазами, а ты его и не заметишь.

— Он сопровождается голосами. Являются несколько святых, сопутствуемые сонмами ангелов, и говорят со мной; я слышу их голоса, но другие не слышат. Они дороги мне — мои Голоса; так я их

называю.

— Что же они говорят тебе, Жанна?

— Разное. Все о Франции.

— О чем они больше всего говорили? Она вздохнула:

— О бедствиях — все только о бедствиях, о неудачах, об унижениях. Больше нечего было предсказывать.

— Так они говорили тебе все это заранее?

— Да. Так что я знала наперед о всех грядущих событиях. И потому я была печальна, как ты заметил. Могло ли быть иначе? Однако всякий раз было также и слово надежды. Больше того: Франции обещано освобождение, она получит назад свое величие и свою независимость. Но как и через кого — о том не было сказано. Не было сказано до нынешнего дня.

При последних словах глаза ее загорелись глубоким огнем; впоследствии я видел этот огонь много раз, когда трубы призывали к атаке, и я прозвал его боевым огнем. Ее грудь трепетала, щеки оживились румянцем.

— Но сегодня я узнала. Господь избрал для этого дела недостойнейшее из созданий Своих. И по Его повелению, под защитой Его десницы и Его всемогущества — не по своей воле — я должна повести Его рать, должна отвоевать Францию, должна возложить корону на главу Его слуги,

дофина, которому надлежит сделаться королем.

Я был поражен:

— Ты, Жанна? Ты, ребенок, поведешь французское войско?

— Да. На одно лишь мгновение мысль об этом удручила меня. Ведь я, как ты сказал, еще ребенок; я молода и неопытна, не понимаю ничего в военном деле; мне ли нести тяготы походной жизни, мне ли быть товарищем воинов? Но прошли минуты слабости, и они больше не повторятся. Я назначена, и я не отстранюсь, пока с Божьей помощью Франция не освободится от когтей англичан. Мои Голоса никогда не лгали, не солгали они и сегодня. Они сказали, что я должна идти к Роберту де Бодрикуру, губернатору Вокулера: он даст мне вооруженную свиту и пошлет к королю. Пройдет год — и разразится удар, который будет началом конца, а конец будет близок.

— Где разразится?

— Мои Голоса не открыли мне этого, не открыли и того, что случится в течение года, до нанесения удара. Мне суждено нанести его — вот все, что я знаю; и за этим ударом последуют другие, быстрые и могучие, — в десять недель рухнут великие, многолетние труды англичан, и на главу дофина будет возложена корона — такова воля Господа; мои Голоса вещали мне, и могу ли я им не верить? Сбудется произнесенное ими, потому что

они говорят только истину.

Слова ее потрясли меня. Голос разума говорил мне, что все это несбыточно, но сердце признавало их правдой. Итак, сомневаясь разумом, я верил сердцем; я верил и с того дня твердо хранил эту веру.

Я сказал:

— Жанна, я верю тому, что ты сказала. И теперь я рад, что мне суждено идти на войну, то есть если мне суждено идти с тобой.

Она с удивлением взглянула на меня и сказала:

— Действительно, тебе назначено пойти со мной, когда я выступлю в поход, но откуда ты узнал?

— Я пойду с тобой; пойдут Жан и Пьер; но Жак останется.

— Верно, именно так и назначено: недавно мне было откровение. Но только сегодня я узнала, что те пойдут вместе со мной и что сама я пойду. Откуда же ты узнал?

Я рассказал, как мне удалось уловить ее слова. Но она не могла вспомнить. И я понял, что она тогда спала, или была в забытьи, или в состоянии экстаза. Она велела мне покуда молчать об этих откровениях; я обещал и — сдержал слово.

В этот день всякий, встречая Жанну, замечал происшедшую с ней перемену. Ее движения и речи

отличались особым рвением и решимостью; в ее глазах замечался странный огонь, которого не было раньше, и что-то совершенно новое и необычное было во всей ее осанке. Этот новый огонь в глазах, эта новая осанка были отражением свыше дарованных ей в тот день влияния и полномочий народного вождя; и эта внешняя перемена красноречивее слов говорила о ее превосходстве над нами, но без малейшего оттенка рисовки или хвастовства. Это спокойное осознание силы, спокойное, безотчетное ее проявление с тех пор остались у нее, пока она не привела в исполнение свое великое дело.

Подобно другим жителям деревни, Жанна всегда относилась ко мне с уважением, согласно моему званию. Но теперь, словно по молчаливому уговору, мы поменялись местами; она давала приказания — не советы, — и я подчинялся беспрекословно, почитая ее как начальника. Вечером она сказала мне:

— Я уйду отсюда перед рассветом. Никто не должен знать об этом, кроме тебя. Я отправляюсь, чтобы переговорить с губернатором Вокулера, согласно повелению; он посмеется надо мной, будет груб и, быть может, на первый раз откажется удовлетворить мою просьбу. Сначала я пойду в Бюрэ, чтобы уговорить дядю Лаксара пойти со мной, так как мне не подобает идти одной. Ты

можешь понадобится мне в Вокулере: если губернатор откажется принять меня, то я продиктую письмо к нему; значит, мне нужен будет человек, умеющий писать и читать. Завтра ты уйдешь отсюда после полудня и останешься в Вокулере, пока не минует надобность.

Я обещал повиноваться, и она пошла своей дорогой. Видите, какая у нее была светлая голова, как правильно она предусмотрела все. Она не приказала мне идти вместе с ней; нет она оберегала свое доброе имя от грязных сплетен. Она знала, что губернатор, как дворянин, примет меня — дворянина; но нет — это, как видите, не соответствовало ее принципам. Бедная крестьянская девушка передает просьбу через молодого дворянина: как взглянули бы на это? Она избегала любых ситуаций, способных бросить на нее даже тень подозрения, и в результате ей удалось до конца сохранить незапятнанным свое доброе имя. Теперь я знал, как надлежит мне поступить, чтобы заслужить ее одобрение: отправиться в Вокулер, не показываться ей на глаза и быть наготове, чтобы явиться по первому ее зову.

На следующий день, после полудня, я отправился в город и нанял там скромное помещение; через день я посетил замок и засвидетельствовал свое почтение губернатору, который пригласил меня на следующий день на

обед. Это был образцовый солдат того времени: высокий, загорелый, седой, грубоватый, он вечно произносил страшные проклятия, которые он подобрал во время походов и сохранял, как драгоценные украшения. Он всю жизнь провел в походах, и, по его мнению, война была лучшим даром, ниспосланным человеку Богом. На нем была стальная кираса, сапоги выше колен, и опоясан он был огромным мечом. И когда я взглянул на эту воинственную фигуру, и услышал всю эту диковинную ругань, и понял, как чужд этот человек всяких тонкостей чувства и поэзии, то я подумал, что крестьяночка не удостоится получить доступ к этой крепости: она должна будет довольствоваться продиктованным посланием.

В следующий полдень я снова явился в замок; меня провели в обширную пиршественную залу и посадили рядом с губернатором за небольшой стол, стоявший на возвышении, отдельно от общей трапезы. Кроме меня, за почетным столиком сидели еще несколько гостей, а за общим — старшие офицеры гарнизона. У входных дверей помещались часовые с алебардами, в шишаках и латах.

Беседа, конечно, шла все о том же — об отчаянном положении Франции. Кто-то сообщил слух, что Солсбери собирается идти на Орлеан. Собеседники тотчас разгорячились, каждый высказывал свое мнение. Одни говорили, что он



выступит в поход немедленно, другие — что он успеет начать осаду только к шапочному разбору, третьи — что осада будет продолжительна и встретит доблестный отпор; только в одном все мнения сходились: Орлеан непременно падет, а с ним и Франции конец. На том и окончились долгие споры, и наступило молчание. Каждый, казалось, погрузился в собственные мысли, забыв обо всем окружающем. Разительна и торжественна была эта внезапная, глубокая тишина, сменившая господствовавшее перед тем оживление. Вошел слуга и прошептал что-то на ухо губернатору, который переспросил:

— Хотят говорить со мной?

— Да, ваша милость.

— Гм... Странная затея, право! Приведи их сюда.

Это были Жанна и ее дядя Лаксар. При виде знатных господ бедный старый крестьянин совсем растерялся, остановился на полдороге и ни за что не решался идти дальше, а продолжал стоять, комкая в руках свой красный колпак и смиренно кланяясь во все стороны. Страх и смущение ошеломили его. Но Жанна смело выступила вперед и остановилась перед губернатором, держась с достоинством и владея собой. Она узнала меня, но не показала и виду. Ее встретили гулом изумления, и даже губернатор пробормотал: «Ей-богу, какое

прелестное создание!» Минуту-другую он пытливо всматривался в нее, затем сказал:

— Ну, по какому делу ты явилась, дитя мое?

— Я послана к вам, Роберт де Бодрикур, губернатор Вокулера, и вот ради чего: вы должны послать дофину весть, чтобы он не торопился дать врагу сражение, но обождал, потому что Господь скоро пошлет ему помощь.

Этот странный ответ поразил присутствовавших, и иные пробормотали: «Бедняжка не в своем уме». Губернатор нахмурился и произнес:

— Что это за чепуха? Король — или дофин, как ты его называешь, — не нуждается в вестях такого рода. Он подождет — на этот счет будь спокойна. Что еще желаешь ты мне сказать?

— Вот что: я хочу просить, чтобы вы дали мне вооруженную стражу и послали к дофину.

— Зачем это?

— Чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне предначертано изгнать из Франции англичан и возложить корону на главу его.

— Как... ты? Да ведь ты еще ребенок!

— И тем не менее мне назначено совершить это.

— Вот как? А когда все это должно случиться?

— В следующем году произойдет его

коронование, и после того он станет повелителем Франции.

Все разразились громким хохотом. Когда немного поутихло, губернатор спросил:

— Кто послал тебя с этими несбыточными поручениями?

— Мой Повелитель.

— Какой Повелитель?

— Царь Небесный.

Многие заговорили вполголоса: «Ах, бедняжка, бедняжка!», «Разум-то у нее совсем помутился!». Губернатор кликнул Лаксара и сказал:

— Эй, ты! Отведи-ка эту полоумную девчонку домой, да выпороть ее хорошенько! Самое лучшее будет лекарство.

Уходя, Жанна обернулась и сказала простодушно:

— Вы отказываетесь дать мне солдат. Почему — я не знаю; ведь Господь повелел вам. Да, это Он приказывает; а потому я приду опять и опять и, наконец, получу вооруженную стражу.

После ее ухода долго шли разговоры; все дивились. А стража и слуги разнесли эти слухи по городу; из города весть разлетелась по всей провинции, и Домреми уже пересуживал ее на все лады, когда мы возвратились.

## ГЛАВА VIII

Природа человека повсюду неизменна: она благоговеет перед успехом, неудачи клеймит презрением. В деревне решили, что Жанна опозорила ее своим шутовским выступлением и его смехотворным исходом. И все чесали об этом языки с такой же язвительностью и злобой, как с усердием; счастье, что языки все были беззубые, а то Жанна не пережила бы этой травли. Иные языки, хоть и не бранили ее, зато были еще злее и нестерпимее: они издевались над ней, высмеивали ее и не переставали денно и нощно изощрять свое остроумие, преследуя ее шуточками и хохотом. Ометта, маленькая Менжетта и я стояли за нее, но остальные ее друзья не выдержали враждебного натиска и начали сторониться Жанны; им стыдно было показываться в ее обществе, потому что она была теперь так непопулярна и потому что из-за нее теперь и на них сыпались насмешки и издевательства. Она потихоньку проливала слезы, но никогда не плакала на виду. На глазах у всех она, напротив, держалась с невозмутимым спокойствием, не высказывая ни грусти, ни злобы, — и уж одним этим она могла бы смягчить общее враждебное чувство; но нет — все оставалось по-прежнему. Ее отец был рассержен так, что не мог спокойно говорить о ее затее — отправиться на войну, точно она мужчина. Когда-то

ему приснилось, будто она выкинула подобную штуку, и теперь он с испугом и досадой вспомнил об этом сновидении и сказал, что скорее, чем позволит ей забыть свой девичий стыд и отправиться с солдатами на войну, он прикажет братьям утопить ее, а если они не послушаются, то он сделает это собственными руками.

Но намерение ее ничуть не было поколеблено, несмотря ни на что. Родители зорко смотрели за ней, чтобы помешать ее уходу из деревни; но она говорила, что должное время еще не наступило; а когда наступит — ей будет указано свыше, и тогда никакие преграды ее не смогут удержать.

Лето приближалось к концу; ее решимость между тем не ослабевала, и тут родители с радостью ухватились за представившийся случай, надеясь положить конец всем ее затеям. Выдать ее замуж! Паладин возымел наглость утверждать, будто она еще несколько лет назад обручилась с ним, и потребовал теперь исполнения слова.

Она заявила, что его утверждение лживо, и отказалась быть его женой. Ее вызвали в церковный суд в город Тул и привлекли к ответственности за нарушение брачного обета; и когда она отказалась от защитника, предпочтя лично вести свое дело, то ее родители и все ее недоброжелатели возрадовались, будучи заранее уверены в ее неудаче. Да оно и понятно: кто мог бы ожидать, что

невежественная крестьянская девушка шестнадцати лет не испугается, не лишится дара слова, когда ей впервые в жизни придется предстать перед собранием опытных законовевов, среди леденящей, торжественной обстановки суда? И тем не менее все ошиблись. Собравшись в Тул, чтобы присутствовать при зрелище и насладиться ее испугом, смущением и неудачей, они испытали лишь всю горечь разочарования. Она была скромна, спокойна и вполне сохраняла самообладание. Она, со своей стороны, не вызывала свидетелей, сказав, что она удовольствуется только допросом свидетелей обвинения. Они дали свои показания; тогда она встала, изложила их показания в нескольких словах, указала на их неопределенность, сбивчивость и необоснованность, затем вызвала Паладина и начала допрашивать его. Под ее искусными руками все его предыдущие показания распались на клочки, так что он, пришедший в богатом облачении лицемерия и лжи, в конце концов был как бы раздет донага. Его поверенный начал было развивать свои доводы, но суд отказался от слушания речи и постановил прекратить дело, произнеся в заключение несколько слов, весьма лестных для Жанны, которую величали не иначе как «это дивное дитя». Разумеется, Жанна выиграла дело, и суд вынес решение в ее пользу.

После такой победы, после такой похвалы со стороны столь высокого собрания переменчивая деревня поддалась новому течению и встретила Жанну благосклонно, ласково и миролюбиво. Мать снова прижала ее к сердцу, и даже отец смягчился, сказав, что он ею гордится. Но тем не менее каждый день ложился тяжелым бременем на ее сердце: уже началась осада Орлеана, над Францией все больше сгущались черные тучи, а Голоса говорили «жди!» и не давали прямых указаний. Началась и тоскливо потянулась зима; но наконец-таки наступила перемена.

# КНИГА ВТОРАЯ

## При дворе и в стане

### ГЛАВА I



Пятого января 1429 года Жанна пришла ко мне со своим дядей Лаксаром.

— Время наступило, — сказала она. — Теперь



мои Голоса не смутны, но отчетливы, и они сказали мне, что следует делать. Через два месяца я буду у дофина.

Ее настроение было восторженно, ее осанка — воинственна. Это передалось мне, и я почувствовал тоже какое-то неодолимое стремление; подобный порыв переживаешь, когда услышишь барабанный бой и топот идущего войска.

— Я верю! — сказал я.

— Я тоже верю, — произнес Лаксар. — Если бы она раньше сказала мне, что Господь повелел ей спасти Францию, — я не поверил бы; я предоставил бы ей самой, как умеет, пробиваться к губернатору, и постарался бы держаться подальше от всей этой кутерьмы, не сомневаясь, что Жанна спятила с ума. Но я видел, как безбоязненно она стояла перед теми знатными и сильными людьми, я слышал, как она говорила свою речь; ведь только с помощью Божьей она могла это сделать. В этом я убедился. А потому я отныне смиренно подчиняюсь ее приказаниям. Пусть поступает со мной, как хочет.

— Мой дядя очень добр, — сказала Жанна. — Я послала к нему с просьбой: пусть придет к нам и уговорит маму отпустить меня с ним, чтобы я могла поухаживать за его женой — она больна. Это устроилось, и завтра с рассветом мы отправляемся. Из его дома я вскоре пойду в Вокулер — буду там

ждать и домогаться, пока не получу просимого. Кто были те два рыцаря, что сидели тогда слева от тебя за столом губернатора?

— Один — сьер Жан де Новелонпон де Мец, другой — сьер Бертран де Пуланжи.

— Хорошая сталь — хорошая сталь, и тот и другой. Я наметила их себе в помощники... Что прочитала я на твоём лице? Сомнение?

Я приучал себя говорить ей всегда лишь неприкрашенную правду, а потому сказал:

— Они приняли тебя за помешанную — так и сказали. Правда, они сожалели о тебе, но все-таки назвали тебя безумной.

По-видимому, это несколько не встревожило и не обидело ее. Она только промолвила:

— Мудрые люди меняют свои мнения, когда видят, что их взгляд был ошибочным. Так будет и с ними. Они отправятся со мной. Теперь я опять встречу с ними... Кажется, ты опять сомневаешься? Сомневаешься?

— Нет. Теперь нет. Мне лишь вспомнилось, что это было год тому назад и что они неместные; они случайно остановились здесь на один день во время путешествия.

— Они приедут опять. Но к делу: я пришла, чтобы оставить тебе кое-какие распоряжения. Через несколько дней после моего ухода отправишься и ты. Устрой все свои дела, потому что твое

отсутствие будет продолжительным.

— А Жан и Пьер пойдут со мной?

— Нет; сейчас они отказались бы, но вскоре придут и они, и принесут мне родительское благословение и согласие на то, чтобы я пошла навстречу своему призванию. Тогда я буду сильнее... это придаст им бодрости; а теперь я слаба, потому что мне недостает этого. — Она замолчала, и ее глаза наполнились слезами; затем она продолжала: — Я хотела бы проститься с маленькой Менжеттой; на рассвете приведи ее за околицу; пусть она немного проводит меня...

— А Ометта?

Жанна не выдержала и залилась слезами.

— Нет... о нет! — сказала она. — Слишком она дорога мне. Я не перенесла бы свидания, зная, что никогда не увижу ее лица.

На другое утро я пришел с Менжеттой, и мы, все четверо, пошли по дороге, пока деревня не осталась далеко позади. Тогда обе девушки сказали друг другу последнее «прости»; долго они обнимались, долго изливали в ласковых словах свое горе. Грустная картина. Жанна долго смотрела на далекую деревню, на Дерево Фей, на дубовый лес, на цветущий луг, на реку, как будто она хотела запечатлеть все эти картины в своей памяти, так, чтобы они вечно сохранялись, не побледнели: она ведь знала, что никогда в жизни больше не увидит

этого. Потом она повернулась и пошла своей дорогой, проливая горькие слезы. То был ее день рождения и мой. Ей исполнилось семнадцать лет.

## ГЛАВА II

Через несколько дней Лаксар проводил Жанну в Вокулер и нашел ей там помещение у Катерины Ройе, жены пекаря, честной и доброй женщины. Жанна не пропускала ни одной обедни, помогала по хозяйству — этим она платила за помещение и стол, — и если кому-нибудь приходила охота поговорить с ней насчет ее призвания, — а таких любителей было много, — то она беседовала свободно, ничего уже не скрывая. Я вскоре поселился неподалеку и подмечал, как к ней относится население. Быстро разнеслась весть, что появилась молодая девушка, которой Бог повелел спасти Францию. Простой народ стекался толпами, чтобы взглянуть на нее и поговорить с ней, и ее юная красота сразу завоевывала ей половину их доверия, а ее глубокая убежденность и несомненная искренность довершали остальное. Зажиточные люди держались вдали и подтрунивали; ну да их не переделаешь.

Вспомнили пророчество Мерлина; восемьсот лет миновало с тех пор, как он предсказал, что через многие годы Францию погубит женщина, и

женщина спасет. Вот Франция была погублена впервые — и погубила ее женщина, Изабелла Баварская, ее королева-предательница; и нет сомнения, что эта чистая и прекрасная молодая дева избрана Небом для завершения пророчества.

В этом было новое и могучее поощрение возраставшего любопытства; все больше и больше разгоралось волнение, а вместе с ним надежда и вера. И волна за волной покатилося из Вокулера по всей стране это животворное воодушевление, разлилось вглубь и вширь, охватив все деревни, освежило и приободрило гибнувших сынов Франции. И из тех деревень потянулся народ, чтобы увидеть воочию и услышать самим; кто узрел и услышал — тот веровал. Они переполнили город; больше того: харчевни и дома были набиты битком, и все-таки половина прибывших должна была остаться без крова. А люди все прибывали, хотя стояла зима; когда алчет душа, то где тут думать о хлебе или пристанище, лишь бы утолить свою более высокую потребность. День за днем, день за днем увеличивался этот многолюдный поток. Домреми был поражен, ошеломлен, сбит с толку. Деревня задавалась вопросом: «Неужели это мировое чудо все эти годы пребывало среди нас, а мы и не примечали?» Пришли из деревни Жан и Пьер; на них смотрели во все глаза, им завидовали, словно великим и счастливым мира сего. Их

шествие в Вокулер было подобно триумфу; из окрестных деревень сбегался народ, чтобы увидеть и приветствовать братьев той, с которой ангелы беседовали с глазу на глаз и в чьи руки, по воле Бога, они передавали судьбу Франции.

Братья принесли Жанне благословение и напутствие родителей, а также обещание, что они вскоре сами придут подтвердить ей это. И с этим беспредельным блаженством на сердце, с этим залогом счастливой надежды она вторично отправилась к губернатору. Но тот был столь же несговорчив, как и раньше. Он отказался послать ее к королю. Она была разочарована, но ничуть не пала духом.

— Все равно, — сказала она, — я должна буду приходить, пока не получу вооруженной свиты, потому что так повелено, и я не могу не повиноваться. Я должна отправиться к дофину, хотя бы мне пришлось ползти на коленях.

Я и оба брата навещали Жанну каждый день, чтобы видеть приходивший народ и послушать, о чем говорят. И однажды действительно явился сьер Жан де Мец. Он повел с ней речь в шутовском и ласковом тоне, как обыкновенно разговаривают с детьми.

— Что ты тут подделываешь, девочка? Как ты думаешь, вытурят ли короля из Франции и превратимся ли мы все в англичан?

Она отвечала ему со своим обычным спокойствием и деловито:

— Я пришла просить Роберта де Бодрикура отвести или отослать меня к дофину, но он не внемлет моим словам.

— Поистине твоя настойчивость поразительна; минул целый год, а ты не изменила своей прихоти. Я видел тебя, когда ты явилась в первый раз.

Жанна возразила с прежней невозмутимостью:

— Это не прихоть, а цель. Он даст согласие. Я буду ждать.

— Ах, дитя мое, благоразумно ли так твердо уповать на это? Губернаторы ведь упрямый народ, с ними скоро не сладишь. Ежели он не удовлетворит твоей просьбы...

— Удовлетворит. Он не может иначе. Ему не дано выбирать.

Шутливость дворянина начала пропадать — это видно было по его лицу. Убежденность Жанны передавалась и ему. Всегда случалось так, что все, кто начинал с ней шутить, под конец становились серьезны, подмечая в ней такую душевную глубину, о которой раньше и не подозревали; ее очевидная искренность и непоколебимая твердость ее убеждений составляли силу, перед которой не могло устоять легкомыслие. Сьер де Мец вдруг

немного призадумался. Затем произнес, уже без оттенка шутки:

— Необходимо ли тебе отправиться к королю так скоро? То есть, хочу я сказать...

— До наступления крестопоклонной недели. Хотя бы у меня отнялись ноги до самых колен.

Она произнесла это с тем скрытым огнем, который столь много говорит, когда взбаламучено сердце. Прочитали бы вы ответ на лице этого рыцаря, посмотрели бы вы, как загорелись его глаза! То было сочувствие. Он сказал:

— Бог свидетель — я верю, что ты получишь стражу и что из этого выйдет толк. Что же ты собираешься сделать? На что ты надеешься и какова твоя цель?

— Спасти Францию. И мне предназначено совершить это. Ибо ни единый человек на всем свете, ни король, ни герцог, ни кто-либо другой, не может восстановить французское королевство, и неоткого ждать помощи помимо меня.

Эти слова были проникнуты и убежденностью и искренностью порыва; они растрогали доброго дворянина. Я видел ясно. А Жанна добавила несколько упавшим голосом:

— Но поистине я предпочла бы сидеть со своей бедной матерью за веретеном, потому что не для того я была рождена. Однако я должна пойти и совершить это — такова воля моего Повелителя.



— Кто твой Повелитель?

— Бог.

И тогда сьер де Мец, исполняя древний и красивый рыцарский обычай, преклонил колени и вложил свои руки в руки Жанны, показывая тем, что он признает себя ее вассалом, и поклялся, что с помощью Божьей он сам проводит ее к королю.

На следующий день прибыл сьер Бертран де Пуланжи, и он также принес ей клятву и честию рыцаря обещал оставаться при ней и повиноваться ее указаниям.

И к вечеру в этот же день разнеслась великая молва по всему городу — будто сам губернатор собирается посетить юную деву в ее убогом жилище. Поутру все улицы и переулки наводнились народом: каждому хотелось увидеть, действительно ли сбудется столь невероятная вещь. И сбылось. Губернатор подъехал в полном параде, в сопровождении своей вооруженной свиты; известие о том разнеслось повсюду, поразило всех, положило конец насмешкам, и слава Жанны поднялась до небывалой высоты.

Губернатор поставил себе такой вопрос: Жанна либо ведьма, либо святая; и он решил докопаться до истины. Поэтому он привел с собою священника, чтобы произвести изгнание беса, на случай, если она одержима нечистой силой. Патер совершил надлежащий обряд, но не обнаружил

дьявола. Он лишь оскорбил Жанну в ее лучших чувствах и неизвестно зачем надругался над ее благочестием; ведь он перед тем исповедовал ее сам и должен был бы знать, — если только он вообще что-нибудь знал, — что бесы не могут присутствовать в исповедальне, но издают крики страдания и самые нечестивые проклятия, лишь только почувствуют близость этого святого таинства.

Губернатор вернулся встревоженный и задумчивый; он решительно не знал, что делать. А пока он размышлял и обдумывал, прошло несколько дней и наступило 14 февраля. Тогда Жанна пришла в замок и сказала:

— Во имя Господа, Роберт де Бодрикур! Вы слишком медлите, и, задерживая меня, вы тем самым причиняете вред, ибо сегодня дофин проиграл битву вблизи Орлеана, и он понесет еще больший урон, если вы не отошлете меня к нему как можно скорее.

Губернатор ушам не верил, слушая такую речь, и сказал:

— Сегодня, дитя, сегодня? Как ты можешь знать, что произошло в тех местах сегодня? Восемь или десять дней требуется, чтобы оттуда пришла весть.

— Мои Голоса принесли мне эту весть, и она истинна. Сегодня проиграна битва, и на вас лежит

вина, что я до сих пор не двинулась в путь.

Губернатор некоторое время ходил взад и вперед по комнате, говоря сам с собою и иногда произнося какое-нибудь увесистое проклятие; наконец он сказал:

— Вот что! Ступай себе с миром и жди. Если окажется так, как ты говоришь, то я дам тебе грамоту и пошлю тебя к королю, — но не иначе.

Жанна ответила с жаром:

— Благодарение Богу, почти миновала пора ожидания. Через девять дней вы дадите мне грамоту.

Население Вокулера уже подарило ей коня, а также вооружило и снарядило ее, как воина. До сих пор у нее не было случая испытать коня и узнать, может ли она ездить верхом, потому что ее первой и главной обязанностью было не покидать своего поста и внушать надежду и смелость всем приходящим к ней и готовить их к совместному подвигу освобождения и возрождения королевства. Исполнению этого долга она посвящала каждую минуту своего времени. Но не все ли равно — не было ничего, чему она не могла бы научиться, и притом в кратчайший срок. Ее конь убедился в том с первого же часа. Между тем учебе ездить верхом занялись братья Жанны и я; мы учились по очереди. Обучались мы также искусству владеть оружием.

20 числа Жанна созвала свое маленькое

войско — двух рыцарей, двух своих братьев и меня — на частный военный совет. Нет, то не был совет — такое название не подошло бы, потому что она не совещалась с нами, а отдавала приказания. Она начертала нам путь, которым намеревалась ехать к королю, и сделала это подобно человеку, в совершенстве знающему географию; и эта роспись ежедневных переходов была составлена так, что все особенно опасные места оставались в стороне благодаря фланговым движениям. Из этого видно, что политическую географию она знала так же хорошо, как физическую. И в то же время она ни одного раза не была в школе, ничему не училась. Я изумился, но тотчас подумал, что Голоса вразумили ее. Однако по некотором размышлении я заметил, что дело вовсе не в том. Она постоянно ссылалась на слова того, или другого, или третьего, и я понял, что она прилежно расспрашивала всех своих бесчисленных посетителей и на основании их сообщений терпеливо собрала всю эту сокровищницу знания. Оба рыцаря восхищались ее здравым смыслом и проницательностью.

Она приказала нам сделать все приготовления к путешествию, во время которого мы будем совершать переходы ночью, а спать — днем, в потаенных местах; почти весь долгий путь через неприятельскую территорию нам предстояло совершить в таких условиях.

Кроме того, она приказала хранить в тайне день нашего отправления, потому что желала уйти незамеченной. В противном случае наше выступление было бы отпраздновано шумными проводами, а это могло бы послужить предупреждением врагу: нас подстерегли бы в засаде и взяли в плен. В заключение она сказала:

— Теперь мне только осталось сообщить вам день, когда мы выступим в поход, — чтобы вы могли заблаговременно приготовить все и чтобы не пришлось ничего делать в последнюю минуту кое-как и наспех. Мы отправляемся двадцать третьего в одиннадцать часов вечера.

И она отпустила нас. Оба рыцаря были ошеломлены и — встревожены. И сьер Бертран сказал:

— Даже если губернатор в самом деле даст ей грамоту к королю и конвой — он все-таки, быть может, не успеет сделать это к назначенному ею времени. Тогда как же она решается назначать день и час? Опасно, очень опасно выбирать и назначать время при такой неизвестности.

Я сказал:

— Раз она сказала двадцать третьего, то мы можем ей довериться. Я думаю, Голоса поведали ей. Нам лучше всего повиноваться.

И мы повиновались. Родителей Жанны уведомили, чтобы они пришли до 23 числа, но из

осторожности им не было сказано, почему назначен крайний срок.

23 она целый день пытливо всматривалась в толпы стремившихся к дому новых посетителей, но ее родители не показывались. Однако она не теряла мужества и продолжала надеяться. Но наступил вечер, и надежды ее рушились; она залилась слезами, но вскоре осушила их и сказала:

— Очевидно, так должно было случиться; очевидно, так суждено. Я должна перенести это и — перенесу.

Де Мец пытался утешить ее, говоря:

— От губернатора пока ничего не слышно. Они, быть может, придут завтра и...

Он не договорил, потому что она прервала его словами:

— Чего ради? Мы отправляемся сегодня вечером, в одиннадцать часов.

Так и сбылось. В десять часов явился губернатор в сопровождении свиты и факельщиков и привел ей отряд конной стражи, дал коней и вооружение мне и братьям Жанны и вручил ей грамоту на имя короля. Затем он снял свой меч и собственноручно опоясал им Жанну и сказал:

— Истинны были твои слова, дитя мое. Битва была проиграна в тот день. И вот я исполняю свое слово. Иди... будь что будет!

Жанна поблагодарила его, и он пошел своей

дорогой.

Эта проигранная битва была тем знаменитым поражением, которое значитса в истории под именем Сельдяной битвы.

Все огни в доме были сразу погашены, и через некоторое время, когда улицы погрузились в темноту и безмолвие, мы, никем не замеченные, миновали их и, выехав через западные ворота, помчались во весь опор, нахлестывая и пришпоривая лошадей.

## ГЛАВА III



Нас выехало двадцать пять отлично вооруженных человек. За городом мы построились попарно: Жанна и ее братья — посреди колонны, Жан де Мец — во главе, а сьер Бертран — в арьергарде. Рыцари были назначены на эти места, чтобы предупреждать попытки бегства — на первое



время. Часа через два-три мы будем уже на территории неприятеля, и тогда никто не осмелится задать тягу. Мало-помалу по всей линии начали в разных местах раздаваться стоны, оханья и проклятья; расспросив, в чем дело, мы узнали, что шестеро из нашего отряда — крестьяне, никогда раньше не ездившие верхом; им лишь с большим трудом удавалось держаться в седле, и к тому же теперь они начали испытывать изрядную боль. Губернатор в последнюю минуту велел схватить их и силой присоединить к нашему отряду, чтобы заполнить ряды; к каждому он приставил опытного воина с приказанием поддерживать их в седле и убить при первой попытке к бегству.

Эти бедняги соблюдали тишину, пока были в силах; но их физические страдания наконец столь обострились, что они не могли долее терпеть. Однако теперь мы вступили на вражескую территорию, где им неоткуда было ждать помощи; они вынуждены были продолжать с нами путь, хотя Жанна и разрешила им покинуть нас, если они не боятся. Они предпочли остаться. Мы убавили ходу и теперь продвигались с осторожностью; новобранцев предупредили, чтобы они терпели свое горе молча, а не подвергали весь отряд опасности своими проклятиями и жалобами.

К рассвету мы углубились в лес, где разбили лагерь, и вскоре все, кроме часовых, заснули

крепким сном, несмотря на холодное земляное ложе и морозный воздух.

В полдень я очнулся от такого крепкого и одуряющего сна, что сначала не мог привести в порядок свои мысли и не знал, где нахожусь и что случилось. Понемногу моя голова прояснилась, и я вспомнил все. Я лежал, раздумывая о необычайных событиях последнего месяца, и вдруг мне пришла в голову мысль, сильно меня поразившая: ведь одно из пророчеств Жанны не сбылось. Где Ноэль и Паладин, которые должны были присоединиться к нам в одиннадцатом часу? К этому времени, видите ли, я привык ожидать исполнения всего, что сказано Жанной. Встревоженный и взволнованный такими мыслями, я открыл глаза. И что же? Передо мной стоял сам Паладин, прислонившись к дереву и поглядывая на меня! Как часто бывает, что думаешь или говоришь о каком-нибудь человеке, а сам и не подозреваешь, что он тут как тут! Можно предположить, что ты подумал о нем именно потому, что он находится вблизи, а вовсе не случайно, как принято объяснять. Как бы то ни было, Паладин стоял, смотря мне прямо в лицо и ожидая, когда я проснусь. Я чрезвычайно обрадовался, увидя его, вскочил на ноги, крепко пожал ему руку, отвел его немного в сторону от нашего лагеря — причем он хромал, словно калека, — и, предложив ему присесть, сказал:

— Откуда же ты свалился как снег на голову? Какими судьбами ты попал сюда? И что значит твой военный наряд? Объясни мне все.

Он ответил:

— Я ехал с вами всю прошлую ночь.

— Да ну! — И я сказал себе: значит, пророчество сбылось хоть наполовину.

— Да. Я поспешил из Домреми, чтобы присоединиться к вам, и едва не опоздал на каких-нибудь полминуты. По правде говоря, я уже опоздал, но так усердно упрашивал губернатора и он был так растроган моим доблестным рвением послужить на пользу отечеству — таковы были его подлинные слова, — что сдался и позволил мне примкнуть к отряду.

Я подумал: «Это ложь; он — один из тех шести, которых губернатор насильно завербовал в последнюю минуту; я знаю это, потому что по пророчеству Жанны он должен был присоединиться к нам в одиннадцатом часу, и не по доброй воле». Затем я сказал вслух:

— Очень рад, что ты явился; мы боремся за правое дело, и в наши времена никому не подобает сидеть дома.

— Сидеть дома! Мне так же невозможно было усидеть дома, как грому — остаться в туче вопреки призыву бури.

— Хорошо сказано. И это так похоже на тебя.

Он был польщен.

— Мне приятно, что ты не ошибся во мне. Не все знают меня. Но у них скоро откроются глаза. Они близко узнают меня, прежде чем я успею вернуться из похода.

— Не сомневаюсь в этом. Верю, что при первой же опасности ты сумеешь показать себя.

Мои слова очаровали его, и он раздулся, как пузырь. Он сказал:

— Если я знаю самого себя (а мне думается, что знаю хорошо), то мои подвиги во время этого похода не раз заставят тебя вспомнить о своих словах.

— Глупо было бы сомневаться в том. Я верю в тебя.

— Мне, правда, негде будет развернуться: ведь я простой солдат. Тем не менее мое имя прогремит по всему отечеству. Будь я на своем месте, будь я на месте Ла Гира, или Сентрайля, или Бастарда Орлеанского... не стану ничего говорить, я не из породы болтунов, вроде Ноэля Рэнгесона и ему подобных, избави боже! Но согласись, ведь это кое-что значило бы — это поразило бы весь мир, как нечто небывалое, если бы слава простого солдата вознеслась выше их и своим блеском затмила величие их имен!

— Послушай-ка, друг мой, — сказал я, — знаешь ли, ты набрел на великую мысль? Сознаешь

ли ты, какой необъятный простор она откроет тебе? Рассуди: что значит быть прославленным полководцем? Ничего — история битком набита ими; их так много, что всех имен и в памяти не удержишь. Но простой солдат, прославивший себя до небывалой высоты, будет стоять особняком! Он был бы единственной луной среди небосвода мелких, как горчичное зерно, звезд; его имя переживет род человеческий. Друг мой, от кого ты заимствовал такую мысль?

Он едва не лопался от восторга, но старался по мере возможности скрывать свои чувства. Он скромно отстранил похвалу мановением руки и сказал:

— Пустяки. У меня они зарождаются часто — мысли в таком же роде, да и еще более величественные. А в этой, по-моему, нет ничего особенного.

— Я поражен. Поистине поражен. Неужели это ты сам додумался?

— Именно. И там, откуда эта мысль явилась, их есть еще большой запас, — тут он указал пальцем на свой лоб и заодно воспользовался случаем сдвинуть свой шишак набекрень, что придало ему крайне самодовольный вид. — Мне нет нужды пользоваться чужими мыслями, как это делает Ноэль Рэнгесон.

— Кстати, насчет Ноэля — когда ты видел его

в последний раз?

— С полчаса назад. Он дрыхнет вон там, словно колода. Ехал с нами всю ночь.

Мое сердце сильно забилося, и я сказал себе, что теперь я могу успокоиться и возрадоваться и что отныне я никогда не буду сомневаться в пророчествах Жанны. И я произнес:

— Это радует меня. Я могу гордиться нашей деревней. Я вижу, что в нынешние великие времена никакая сила не удержит дома наших львиных сердец.

— Львиное сердце! У кого — у этого молокососа? Да он, словно собачонка, просил отпустить его. Плакал и просился к маме. Это у него-то львиное сердце! У этого олуха!

— Боже мой, а я-то думал, что он записался добровольцем! Неужели нет?

— Ну да, такой же доброволец, как те, что идут к палачу. Дело в том, что он еще в Домреми узнал о моем желании присоединиться к Жанне и навязался мне в попутчики, чтобы под моей защитой взглянуть на народ и на всю эту сутолоку. Ну, пришли мы и видим: у замка появились факелы; побежали туда, а губернатор приказал его схватить вместе с четырьмя другими. Он давай проситься, и я тоже просил, чтобы взяли меня вместо него, и в конце концов губернатор позволил мне присоединиться; однако Ноэля не согласился

отпустить — слишком уж осерчал на него за то, что он плакса. Да, нечего сказать, много от него пользы будет на королевской службе: жрать будет за шестерых, удирать — за десятерых. Ненавижу карликов с половинным сердцем и девятью брюхами!

— Право, я не ожидал такой новости, я этим огорчен и разочарован. Ведь я всегда считал его за очень бравого парня.

Паладин с негодованием взглянул на меня и сказал:

— Не понимаю, как ты можешь говорить подобные вещи, положительно не понимаю. Не понимаю, откуда у тебя взялось такое мнение о нем. Я отсюда не чувствую вражды к нему и говорю так вовсе не из предубеждения — я не позволил бы себе отнестись к кому-либо с предубеждением. Я люблю его — я чуть не с колыбели был его товарищем, но пусть он не взыщет, если я открыто выскажусь о его недостатках, а он пусть выскажется о моих, если найдет во мне таковые. И, правду сказать, возможно, что они у меня есть, но, думаю, они выдержат испытание; так мне кажется. Бравый парень! Послушал бы ты, как он ночью визжал, хныкал, ругался только потому, что седло намозолило ему зад. Почему оно не намозолило мне? Ба! Мне было так удобно, словно я в седле родился. А между тем я первый раз в жизни поехал

верхом. Все старые служивые дивились моей мастерской посадке, говорили, что никогда не видывали такого ездока. А он-то! Они должны были все время поддерживать его.

Среди ветвей пахло благоуханием завтрака; Паладин невольно расширил ноздри, смакуя трапезу, — встал и ушел, сказав, что ему надо присмотреть за лошадью.

В сущности, он был славный и добродушный великан, совершенно безвредный, ибо какой вред, если собака лает, — лишь бы не кусалась; какой вред, если осел кричит, — лишь бы не лягался. Если у этой огромной туши, состоящей из мякоти, мускулов, тщеславия и глупости, на первый взгляд чересчур длинный язык, то что же из этого? Болтовня его в действительности была безобидна; к тому же этот недостаток не им самим создан, а воспитан Ноэлем Рэнгесоном, который холил его, лелеял, выращивал и совершенствовал — ради собственной забавы. Беззаботному, легкомысленному Ноэлю надо было непременно кого-нибудь дразнить, подзадоривать, вышучивать; а Паладин только нуждался в некоторой обработке, чтобы пойти навстречу его желаниям. Ну, тот и взялся за обработку, приложил все свои старания и изобретательность и повел дело с усердием комара, гонящегося за быком. Целые годы продолжалось это в ущерб более важным задачам воспитания. И



старания увенчались полным успехом. Ноэлю общество Паладина было дороже всего; Паладин что угодно готов был предпочесть обществу Ноэля. Огромного детину часто видели вместе с этим юрким молодчиком, но происходило это по тем же причинам, по которым быка часто видят в обществе комара.

Как только представился случай, я заговорил с Ноэлем. Поздравив его с началом нашего похода, я сказал:

— Хорошо и доблестно ты поступил, что записался добровольцем, Ноэль.

Он, подмигнув, ответил:

— Да, мне кажется, это было довольно недурно. Впрочем, заслуга-то не вполне моя: мне помогли.

— Кто помог?

— Губернатор.

— Как так?

— Ну, да уж расскажу тебе все, как было. Пошел я из Домреми поглядеть на толпу да на все эти занятные зрелища. Раньше-то мне ничего такого не случалось и видывать, а тут вдруг представилась возможность. Но я вовсе не собирался идти в добровольцы. На полдороге догнал я Паладина и решил во что бы то ни стало осчастливить его своим обществом, хотя он заявил, что вовсе в том не нуждается. И пока мы

ротозейничали да шурились от блеска факелов у губернаторского замка, нас с четырьмя другими схватили и присоединили к отряду: теперь ты знаешь, как я стал добровольцем. Но в конце концов я не очень кручинился, вспомнив, как скучно стало бы в деревне без Паладина.

— Как он отнесся к этому? Был доволен?

— Я думаю, он был рад.

— В самом деле?

— Ведь он заявил, что не рад. Видишь ли, его схватили врасплох, и вряд ли он сумел бы без подготовки сказать правду. Я не думаю, впрочем, что он проявил бы откровенность даже в том случае, если бы имел время на размышление, — я не стану возводить на него такую напраслину. Если бы дать ему время для придумывания лжи, он бы, скорее всего, в этом случае рассуждал бы хладнокровнее и поостерегся бы пускать пыль в глаза столь непривычным способом. Нет, я уверен, что он был рад, так как он говорил, что не рад.

— А по-твоему, он очень радовался?

— Очень, в том нет сомнения. Он униженно молил, ревел, что ему хочется к маме, говорил, что у него слабое здоровье, что он не умеет ездить верхом, что он не переживет и одного дня походной жизни. Но в действительности внешность его вовсе не была так слаба, как его чувства. Неподалеку лежала бочка вина — в пору поднять разве

четверым. Губернатор рассердился на него, послал ему проклятие, от которого пыль столбом взлетела, и приказал тотчас приподнять эту бочку, не то, говорит, «изрублю тебя на куски и отошлю в корзине домой». Паладин исполнил, и тогда его без дальнейших рассуждений произвели в рядовые нашего отряда.

— Да, ты очень ясно доказал мне, что он был рад своему производству, — если только верна предпосылка, на которую ты опираешься. Как держал он себя в минувшую ночь?

— Примерно так же, как я. Если он больше шумел, то не надо забывать, что он и размерами больше меня. Мы оба свалились бы с седел, если бы нас не поддерживали. И оба мы сегодня хромаем в одинаковой степени. Коли ему нравится сидеть — пусть сидит, а я предпочитаю постоять.

## ГЛАВА IV

Нам приказано было выстроиться, и Жанна сделала нам внимательный смотр. Затем она произнесла небольшую речь, указав, что даже в суровой военной обстановке дело спорится лучше, если избегать ругани и всяких непристойных выражений, и что она предлагает нам помнить и строго соблюдать этот совет. Затем она распорядилась, чтобы новобранцев в течение

получаса обучали верховой езде, и приставила в качестве руководителя одного из ветеранов. То было смехотворное зрелище, однако мы кое-чему научились, и Жанна осталась нами довольна. Сама она не принимала участия в ученье, но сидела на коне, как воинственное изваяние, не пропустив ни единой подробности урока, и удерживала все в памяти и потом применяла полученные сведения с такой уверенностью и ловкостью, как будто давно преодолела все трудности.

Мы сделали три ночных перехода подряд, по двенадцать-тринадцать лье каждый; ехали мы спокойно, без всяких приключений, так как нас принимали за бродячую шайку «вольных дружинников». Местные крестьяне только о том и молились, чтобы такие гости поскорее проехали мимо. Тем не менее путь был утомителен и неудобен: мостов встречалось мало, а рек — много; приходилось перебираться вброд и, перемокнув в адски холодной воде, располагаться потом на ночлег прямо на замерзшей или покрытой снегом земле; согревайся и спи, как умеешь, — разводить костры было бы опасно. Мы пали духом от всех этих лишений и смертельной усталости, но Жанна не изменилась. Ее походка сохранила свою легкость и уверенность, в ее глазах не потухал огонь. Мы могли только дивиться этому — объяснить не могли.